

МО ЯНЬ

БОЛЬШАЯ
ГРУДЬ,
ШИРОКИЙ
ЗАД

18+

ЛАУРЕАТ
НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ



Лучшие произведения Мо Яня

Мо Янь

Большая грудь, широкий зад

«ЭКСМО»

1996, 2011

УДК 821.581-31
ББК 84(5Кит)-44

Янь М.

Большая грудь, широкий зад / М. Янь — «Эксмо», 1996,
2011 — (Лучшие произведения Мо Яня)

ISBN 978-5-04-180068-0

Шангуань Лу родилась вместе с XX веком. На ее глазах пала последняя китайская династия и расцвел коммунистический режим. Будучи отданной замуж в 17 лет, она стала Матерью девятерых детей. Японское вторжение и гражданская война не оставили ей шанса на житейское счастье в кругу семьи. Чтобы прокормить своих дочерей и единственного, а оттого и избалованного сына, она работала, не жалея себя. Жизнь была настолько жестока к Матери, что смерть для нее перестала иметь хоть какой-либо смысл. Но один урок ее дети усвоили точно: их Мать никогда не сдавалась. Ее сила духа и стойкость вдохновили сына, так и не сумевшего перенять от родных привычку выживать, рассказать об их жизненной драме без прикрас и лжи.

УДК 821.581-31

ББК 84(5Кит)-44

ISBN 978-5-04-180068-0

© Янь М., 1996, 2011

© Эксмо, 1996, 2011

Содержание

Предисловие ко второму изданию	6
Главные действующие лица	7
Книга первая	11
Глава 1	11
Глава 2	13
Глава 3	16
Глава 4	19
Глава 5	22
Глава 6	27
Глава 7	31
Глава 8	36
Глава 9	39
Книга вторая	42
Глава 10	42
Глава 11	51
Глава 12	63
Глава 13	71
Глава 14	88
Глава 15	99
Глава 16	107
Глава 17	118
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Мо Янь

Большая грудь, широкий зад

Mo Yan

BIG BREASTS&WIDE HIPS

Copyright © 1996, 2011 by Mo Yan All rights reserved

© Егоров И., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Почтительно посвящаю эту книгу душе моей матери на Небесах

Предисловие ко второму изданию

Когда ранней весной 1995 года в комнатухе родного дома в деревне я написал на рукописи слова «Почтительно посвящаю эту книгу душе моей матери на Небесах», на глаза навернулись слезы. При этом я понимал, что подобное посвящение может вызвать чьи-то насмешки, даже издевательства, – ну и пожалуйста.

Для меня эта книга – дань не только моей матери, но и всем матерям Поднебесной. Понятно, что ныне реакцией на такие слова могут быть еще большее зубоскальство и брань, – ну и пусть их. Воспитанная на феодальной морали мать в книге совершает немало поступков вопреки этой морали – поступков, неправильных и с политической точки зрения, любовь ее бурлит, подобно рокочущему океану, необъятная, как земная твердь. Пусть этот образ матери немало разнится с образами матерей в произведениях прошлого, но все же я считаю ее великой матерью, более того – полагаю, что она еще в большей степени воплощает материнское начало, расширяя существующие стереотипные представления.

Еще один важный персонаж в книге – ее сын-полукровка Шангуань Цзиньтун, рожденный от шведского миссионера и страдающий болезненным пристрастием к женской груди. Высокорослый и представительный, но слабовольный, он на всю жизнь остался духовным карликом, так и не сумев оторваться от груди матери. Этого героя истолковывали превратно, он не мог не вызвать споров. Десять с лишним лет назад я слышал и читал немало суждений о нем и считаю, что читатели оценили его верно. Вполне допускаю, что литература притягательна в том числе и тем, что ее могут толковать превратно. Как писатель, я, в общем-то, не против того, чтобы рассматривать Шангуань Цзиньтуна как собирательный образ части современных китайских интеллигентов. И без всякой опаски признаю, что духовный мир Шангуань Цзиньтуна списан с меня, – ведь один уважаемый мною философ как-то сказал: «В глубине души каждого современного китайского интеллигента кроется маленький Шангуань Цзиньтун».

Пятнадцать лет пролетели как одно мгновение, но все же повторная вычитка рукописи вызвала у меня глубокие раздумья. Да, я заметил немало шероховатостей и небрежностей, но должен признать, что такую книгу я уже не напишу. Во втором издании она сохранила изначальный вид, за исключением небольших сокращений и некоторого упорядочения. Кое-кто из друзей предлагал изменить название на «Цзиньтун и Юйнюй»¹, полагая, что это привлечет больше читателей. Но книга «Большая грудь, широкий зад» живет уже пятнадцать лет, так стоит ли что-то менять? Тем более, так мне кажется, первоначальное название уже не воспринимается как нечто ужасное. Разве в сегодняшнем мире оно может кого-нибудь отпугнуть?

28 ноября 2009 г.

¹ *Золотой Мальчик, Яшмовая Девочка* – популярные герои многих китайских народных сказаний, спутники даосских святых, исполнители воли Яшмового Императора; имена главного героя романа и его сестры. – Здесь и далее примечания переводчика.

Главные действующие лица

Мать

Шангуань Лу, детское имя Сюаньэр. В младенчестве лишилась матери, росла у тетки и дяди Юя Большая Лапа. Выдана замуж за Шангуань Шоуси, сына кузнеца. В конце жизни приняла христианство. Дожила до девяноста пяти лет.

Старшая сестра

Шангуань Лайди; дочь Матери и дяди Юя Большая Лапа. Была замужем за Ша Юэляном, родила дочь Ша Цзаохуа. После Освобождения насильно выдана за инвалида войны Бессловесного Суня. Позже полюбила вернувшегося из Японии Пичугу Ханя, в драке убила мужа и была казнена.

Вторая сестра

Шангуань Чжаоди. Отцом ее считается Юй Большая Лапа; вышла замуж за командира антияпонского спецотряда Сыма Ку; мать двух дочерей – Сыма Фэн и Сыма Хуан. В бою с отдельным шестнадцатым полком смертельно ранена. Ее дочери вскоре тоже были убиты по тайному приказу некой важной особы, проводившей левацкую политику «перераспределения земли».

Третья сестра

Шангуань Линди, известна также как Птица-Оборотень. Отцом ее считается некий продавец утят (тайный соглядатай местных бандитов). Была страстно влюблена в Пичугу Ханя. Когда его послали на работы в Японию, повредила рассудком, и ее стали почитать как птицу-оборотня. Выдана замуж за бойца отряда подрывников Бессловесного Суня. При попытке взлететь упала с обрыва и разбилась. Двое ее немых детей погибли от разрыва авиабомбы.

Четвертая сестра

Шангуань Сянди. Родилась от бродячего шарлатана-доктора. В самое трудное время, чтобы спасти семью, продала себя в публичный дом, скиталась в чужих краях, о ней не было ни слуху ни духу. Во время «культурной революции» ее вернули в родные места, отняли все, накопленное за долгие годы, подвергли жестокой публичной критике и осуждению. Умерла от обострившейся застарелой болезни.

Пятая сестра

Шангуань Паньди. Родилась от собачьего мясника Толстяка Гао. В юности вступила добровольцем в отряд подрывников. Вышла замуж за политкомиссара Лу Лижэня, родила дочь Лу Шэнли. Была командиром санитарного отряда, начальником района, руководителем скотоводческого хозяйства. Сменила имя на Ма Жуйлянь². Во время «культурной революции» покончила жизнь самоубийством.

Шестая сестра

Шангуань Няньди. Родилась от просвещенного монаха храма Тяньци. Полюбила американского летчика Бэббита, которого сбили японские истребители и спас отряд Сыма Ку. На

² Практика присвоения имен в Китае отлична от европейской. «Детское» имя с возрастом заменяется на взрослое, которое тоже может быть заменено. В старом Китае давали и посмертные имена.

второй день после свадьбы их захватил в плен отдельный шестнадцатый полк Лу Лижэня, но оба бежали. Некая вдова провела ее в пещеру в горах, где скрывался Бэббит, там они и погибли.

Седьмая сестра

Шангуань Цюди. Родилась после того, как Мать изнасиловали четверо дезертиров. В детстве продана в приемные дочери жене русского графа-белогвардейца. Впоследствии сменила имя на Цяо Циша. Закончила мединститут, причислена к «правым элементам» и сослана в деревню на исправительные работы. Во время голода переела соевых лепешек и умерла.

Восьмая сестра

Шангуань Юйнюй. Сестра-близнец Шангуань Цзиньтуна, родилась от шведского миссионера Мюррея. Слепая от рождения, в трудные времена утопилась, не желая быть обузой для Матери.

Я (рассказчик)

Шангуань Цзиньтун, единственный сын Матери. Страдает болезненным, до умопомрачения, пристрастием к женской груди. После окончания средней школы работал в госхозе. Осужден на пятнадцать лет за некрофилию. После начала реформ, отсидев срок, вернулся домой, поработал заведующим отделом по связям с общественностью в птицеводческом центре «Дунфан», созданном женой его племянника Попугая Ханя. Впоследствии стал председателем совета директоров созданной на деньги Сыма Ляна компании «Единорог. Большой мир бюстгалтеров». Стал жертвой мошенничества, всё потерял, в конце концов оказался в полной нищете и пал духом, так ничего и не добившись в жизни.

Шангуань Шоуси

Кузнец, муж Матери. Импотент, он вынуждал ее рожать от других. Убит японцами.

Шангуань Фулу

Кузнец, отец Шангуань Шоуси. Убит японцами.

Шангуань Люй

Жена Шангуань Фулу, заправляла в семье Шангуань. Вела себя как деспот, под старость впала в слабоумие и была убита взбешенной Матерью при попытке причинить вред Шангуань Юйнюй, восьмой сестре.

Сыма Тин

Старший хозяин Фушэнтана, самой богатой усадьбы Даланя. Стал деревенским головой, председателем Комитета поддержки³. Впоследствии в качестве носильщика участвовал в Хуайхайском сражении⁴, его заслуги были отмечены наградами.

Сыма Ку

Младший брат Сыма Тина, второй хозяин Фушэнтана, муж Шангуань Чжаоди. Во время антияпонской войны командир отряда националистов из «Хуаньсянтуань» – Союза за возвращение родных земель. Был схвачен коммунистами, бежал, сдался властям; расстрелян после открытого суда.

³ Комитет поддержки – организация самоуправления, сформировалась из числа коллаборационистов в период оккупации японскими войсками северо-востока Китая (1937–1945).

⁴ Хуайхайское сражение – одно из крупнейших столкновений между коммунистами и националистами в ходе гражданской войны в Китае (1945–1949).

Сыма Лян

Сын Сыма Ку и его третьей наложницы. После того как семью Сыма вырезали японцы, рос у Матери. Убежал из дому, скитался в чужих краях, стал крупным бизнесменом в Южной Корее. С началом реформ вернулся на родину, вложил деньги в строительство. Вел разгульную жизнь, нажил неприятностей, впоследствии скрылся.

Ша Юэлян

Муж Шангуань Лайди (старшей сестры). Во время антияпонской войны был командиром отряда стрелков «Черный осел». Сдался японцам, стал командиром Бохайского гарнизона, командиром бригады марионеточных войск в Северном Китае. После разгрома бригады батальоном подрывников покончил жизнь самоубийством.

Ша Цзаохуа

Дочь Ша Юэляна и Лайди. Ее растила Мать вместе с Цзиньтуном и Сыма Ляном. Испытывала глубокие чувства к Сыма Ляну. Скиталась, стала профессиональной воровкой. После возвращения Сыма Ляна в родные края из-за его отказа жениться на ней покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

Пичуга Хань

Возлюбленный Шангуань Линди (третьей сестры). Понимал язык птиц, умело ловил их; мастер ушу и прекрасный стрелок из лука. Угнан в Японию на работы, бежал в горы. Пятнадцать лет прожил в пещерах, потом вернулся в Китай, в родные места. Жил в семье Шангуань. Между ним и старшей сестрой, Лайди, которую тиранил Бессловесный Сунь, зародилась любовь. Лайди в драке убила Суня, Пичугу тоже осудили по этому делу. Когда его везли под конвоем на исправительные работы в Цинхай⁵, он выпрыгнул из поезда и погиб.

Мюррей

Шведский миссионер; из-за частых военных смут остался в уезде Гаоми, в дунбэйской⁶ глубинке; служил в христианской церкви в деревне Далань, научился бегло говорить по-китайски, хорошо ладил с местными жителями. Полюбил Шангуань Лу, стал отцом Цзиньтуна и Юйнюй. Не выдержав издевательств отряда стрелков «Черный осел», бросился с колокольни и погиб.

Попугай Хань

Сын Пичуги Ханя и Лайди. После гибели родителей рос у Матери. С началом реформ вместе с женой Гэн Ляньлянь основал птицеводческий центр «Дунфан», обманом получил в банке крупную сумму, растратил ее; позже осужден.

Лу Лижэнь

Известен также как Цзян Лижэнь. Позже сменил имя на Ли Ду. Политкомиссар антияпонского отряда подрывников, затем отдельного шестнадцатого полка, начальник и заместитель начальника уезда Гаодун, заведующий агрохозяйством. В трудные времена умер от обострившейся болезни сердца.

Лу Шэнли

⁵ Цинхай – провинция на крайнем западе КНР.

⁶ Дунбэй – собирательное название северо-востока Китая.

Дочь Лу Лижэня и Шангуань Паньди. В детстве жила у Матери, потом родители забрали ее к себе в уездный город, чтобы она могла учиться. После начала реформ стала управляющей Даланьским филиалом Индустриального и коммерческого банка, мэром Даланя, осуждена и расстреляна по обвинению в коррупции.

Сунь Буянь (Бессловесный Сунь)

Старший внук тетушки Сунь, соседки семьи Шангуань, немой от рождения. Был помолвлен с Шангуань Лайди. После того как она сбежала с Ша Юэляном, вступил в батальон подрывников Восьмой армии⁷. Позже взял в жены Птицу-Оборотня, Шангуань Линди. После 1949 года участвовал в войне в Корее, геройски сражался, вернулся инвалидом. С помощью властей женился на вдовствующей Лайди. Узнав о связи Лайди с Пичугой Ханем, в гневе полез в драку и получил от Лайди смертельную рану.

Цзи Цюнчжи

Учительница Шангуань Цзиньтуна. В 1957 году причислена к «правым элементам». С началом реформ стала первым мэром Даланя; негибкая коммунистка.

⁷ *Восьмая армия* – значительное военное соединение, в ходе антияпонской войны (1937–1945) и последующего военного противостояния с силами националистов (1946–1949) находилась под контролем коммунистов.

Книга первая

Глава 1

С кана⁸, на котором недвижно возлежал пастор Мюррей, было видно, как полоска красного света упала на розоватую грудь Девы Марии и пухлое личико Младенца у нее на руках. От постоянных дождей прошлым летом крыша дала течь, на написанной маслом картине остались желтоватые потеки, а на лицах Девы Марии и Христа застыло отсутствующее выражение. В ярко освещенном окне, раскачиваясь от легкого ветерка, повис на тонких серебряных нитях паучок-сичжу. «“Утром приносит счастье, вечером – богатство”, – сказала однажды, глядя на такого паучка, эта красивая бледная женщина. Какое мне может быть счастье?» В голове промелькнули привидевшиеся во сне причудливые формы небесных тел, на улице протарахтели тележные колеса, издалека, с болотистых низин, донеслись крики красноголовых журавлей, недовольно заблеяла молочная коза. За окном, шумно тыкаясь в оконную бумагу, хлопотали воробы. В тополях за двором перекликались сороки – «птицы счастья». «Видать, сегодняшний день точно какой-то счастливый». Сознание вдруг заработало четко и ясно: в лучах ослепительного света откуда ни возьмись явилась она, эта красивая женщина с огромным животом. Ее губы беспокойно подрагивали, словно она хотела что-то сказать. «Ведь на одиннадцатом месяце уже, сегодня точно родит». Пастор мгновенно понял, что стоит за паучком и криками сорок. Он тут же сел и спустился с кана.

С почерневшим глиняным кувшином в руках пастор Мюррей вышел на улицу за церковь и увидел Шангуань Люй, жену кузнеца Шангуань Фулу, которая, согнувшись, мела улицу перед кузницей метелкой для кана. Сердце заколотилось. Дрожащими губами он еле слышно произнес: «Господи... Господи всемогущий...» – перекрестился одеревеневшей рукой и, неспешно зайдя за угол, стал наблюдать за этой рослой, деблой женщиной. Она молча и сосредоточенно сметала прибитую утренней росой пыль, аккуратно выбирая и отбрасывая мусор. Двигалась она неуклюже, но движения были исполнены невероятной силы, и золотистая метелка из стеблей проса казалась в ее руках игрушечной. Собрав пыль в совок, она примяла ее большой ладонью и выпрямилась.

Не успела Шангуань Люй свернуть в свой проулок, как позади послышался шум, и она обернулась, чтобы посмотреть, в чем дело. Покрытые черным лаком ворота Фушэнтана, самой богатой усадьбы в округе, широко распахнулись, и оттуда выбежали несколько женщин. В каком-то рванье, с лицами, вымазанными сажей. С чего бы так выражаться фушэнтановским? Всегда щеголяли в шелках и бархате и никогда не появлялись на людях ненапомаженные и ненарумяненные. Из конюшни напротив усадьбы на новенькой коляске с резиновыми шинами и с навесом из зеленоватой ткани выехал кучер по прозвищу Старая Синица. Коляска еще не остановилась, а женщины одна вперед другой стали забираться в нее. Кучер присел на корточки перед влажным от росы каменным львом и молча закурил. Из ворот широким шагом вышел старший хозяин Сыма Тин с дробовиком в руках. Двигался он бодро и проворно, как молодой. Кучер торопливо вскочил, не сводя с него глаз. Сыма Тин выхватил у него трубку, пару раз шумно затянулся и поднял глаза к розовеющему рассветному небу.

– Трогай, – велел он, зевнув. – Жди у моста через Мошуйхэ, я скоро.

⁸ Кан – отапливаемая лежанка в традиционном китайском доме.

Держа вожжи в одной руке и кнут в другой, кучер повернул коляску. Женщины у него за спиной громко переговаривались. Кнут щелкнул в воздухе, и лошади рысью тронулись. Зазвенели медные бубенцы, и коляска покатила, поднимая облако пыли.

Сыма Тин остановился посреди улицы, беспечно помочился, напрудив целую лужу, крикнул что-то вслед удалявшейся коляске и, прижав к груди дробовик, стал карабкаться на придорожную сторожевую вышку три чжана⁹ высотой, сооруженную из девяти толстых бревен. На небольшой площадке наверху был укреплен красный флаг. Ветра не было, и влажное полотнище безжизненно свесилось с древка. Шангуань Люй видела, как управляющий, вытянув шею, вглядывается на северо-запад. Со своей длинной шеей и выпяченными вперед губами он походил на пьющего гуся. Белая перистая пелена то проглатывала его, то выплевывала обратно, а кроваво-красные отблески предассветной зари окрашивали лицо яркими бликами. Шангуань Люй казалось, что его красное, как петушиный гребень, лицо покрыто слоем солодового сахара – блестящего, липкого, даже глаза режет, если долго смотреть. Двумя руками Сыма Тин поднял дробовик высоко над головой. Донесся негромкий щелчок: это ударник стукнул о капсюль. Сыма Тин торжественно ждал – долго, очень долго. Ждала, задрала голову, и Шангуань Люй, хотя у нее уже болела шея, а от тяжелого совка ныли руки. Сыма Тин опустил ружье и надул губы, как обиженный ребенок.

– Ах, тудить тебя! – честил он ружье. – Еще и не стреляешь!

Он снова поднял его и нажал курок. Грянул выстрел, из дула вырвался яркий язычок пламени и высветил красным лицо Сыма Тина. От резкого звука разлетелась висевшая над деревней тишина, и в один миг все небо залили яркие краски солнечного света, будто стоявшая на облачке фея рассыпала вокруг мириады чудесных лепестков. У Шангуань Люй даже сердце заколотилось от восторга.

Всего лишь Кузнецова жена, в кузнечном деле она была гораздо искусней мужа, и от одного вида железа и огня кровь у нее бурлила и быстрее бежала по жилам. На руках вздуваются мускулы, словно узлы на пастушьем биче, черное железо ударяет по красному, искры во все стороны, одежда пропитана потом, он течет струйками меж грудей, и все пространство между небом и землей полно бьющим в нос запахом железа и крови.

А там, наверху, Сыма Тина чуть отбросило отдачей. Во влажном утреннем воздухе повис дым и пороховая гарь. Сыма Тин раз за разом обходил помост, набирал полную грудь воздуха, и его громкий крик разносился по всему Гаоми: «Земляки! Японские дьяволы идут!»

⁹ Чжан – мера длины, ок. 3,2 м.

Глава 2

Циновки и соломенная подстилка кана свернуты и отодвинуты в сторону. Высыпав пыль из совка прямо на глиняную кладку, Шангуань Люй с беспокойством глянула на невестку, которая постанывала, держась за край лежанки. Вывернув на кане пыль, негромко предложила:

– Давай, забирайся.

Под ее нежным взглядом полногрудая и широкозадая Шангуань Лу затрепетала всем телом. Она смотрела на исполненное доброты лицо этой женщины, и пепельно-бледные губы жалко тряслись, словно она хотела что-то сказать.

– Опять нашла нечистая сила на этого паразита Сыма, палит из ружья с утра пораньше! – проворчала урожденная Люй¹⁰.

– Матушка... – с трудом выдавила из себя Шангуань Лу.

– Ну, милая невестушка, покажи уж, на что способна, – негромко сказала Люй, отряхивая ладони от пыли. – Коли опять девчонку родишь, даже мне негоже будет твою сторону брать!

Две слезинки выкатились из глаз роженицы. Закусив губу, она собралась с силами и, поддерживая тяжелый живот, забралась на голую глиняную кладку кана.

– Ты по этой дорожке не раз хаживала, давай сама потихоньку управляйся. – Одной рукой Люй положила на кан сложенную белую тряпицу, другой – ножницы и, нахмурившись, нетерпеливо добавила:

– Свекор твой с отцом Лайди черную ослицу обихаживают, первый раз жеребится, надо мне присмотреть.

Шангуань Лу кивнула. Донесся еще один выстрел, испуганный лай собак и обрывки громких воплей Сыма Тина: «Земляки, бегите скорее, не успеете – конец!..» Словно в ответ на эти крики начались толчки в животе. Страшная боль прокатывалась по телу, будто каменный жернов; пот, казалось, выступил из всех пор, заполнив комнату едкой вонью. Она сжала зубы, чтобы сдержать рвущийся наружу крик. Сквозь слезы виделась густая черная грива свекрови. Та опустилась на колени перед домашним алтарем и вставила три алые сандаловые палочки в курильницу богини Гуаньинь¹¹. Вверх потянулись струйки ароматного дыма.

«О Гуаньинь, бесконечно милосердная и сострадающая, помогающая в нужде и вызволяющая в беде, оборони и смилуйся, пошли мне сына...» Сжав обеими руками высоко вздымающийся, прохладный на ощупь живот и глядя на загадочный, сияющий лик богини, Шангуань Лу проговорила про себя слова молитвы, и из глаз снова покатались слезы. Она сняла штаны с мокрым пятном и задрала как можно выше рубашку, чтобы полностью открыть живот и грудь. Устроившись на пыли, что принесла свекровь, она вцепилась в край лежанки. В промежутках между схватками проводила пальцами по взлохмаченным волосам и снова откидывалась на свернутую циновку.

В оконный переплет был вставлен осколок ртутного зеркала, и в нем отражался ее профиль: мокрые от пота волосы, потухшие раскосые глаза, прямая, бледная переносица, пересохшие, полные, безостановочно трясущиеся губы. Проникавшие через окно солнечные лучи падали на живот сбоку. Синеватые изгибы выступивших кровеносных сосудов вместе с неровными выпуклостями и впадинами выглядели пугающе. Она смотрела на свой живот, и мрачные чувства в душе сменялись светлыми, подобно небесам в разгар лета здесь, в Гаоми: то по ним несутся черные тучи, то они сияют прозрачной лазурью. Правда, ей даже страшно было опускать глаза на живот – такой он огромный, а растянувшаяся кожа, казалось, вот-вот лопнет. Однажды ей приснилось, что внутри у нее кусок холодного как лед железа. В другой раз при-

¹⁰ В старом Китае в именах замужних женщин первым стояла фамилия мужа, потом девичья фамилия.

¹¹ *Гуаньинь* – в китайском пантеоне богиня милосердия.

виделась жаба, вся в пятнышках. Железо – ладно, напряглась, но вынесла, а вот при мысли о жабе тело всякий раз покрывалось мурашками. «Бодхисатва, оборони... Духи предков, защитите... Боги и демоны, какие ни есть, сохраните и пощадите, дозвольте родить здоровенького мальчика, чтобы все было на месте... Сыночек, родненький, выходи давай... Правитель небесный и мать-земля, всевышние небожители и лисы-оборотни, помогите...» Так она просила и умоляла меж накатывающих одна за другой, раздирающих все нутро схваток. Руки вцепились в циновку под головой, тело била дикая дрожь, глаза вылезли из орбит, взор застилала багровая пелена с раскаленными добела полосами: они извивались, перекашивались и таяли, будто плавящиеся в печи нити серебра. Сдерживаться уже не было мочи, и изо рта вырвался крик. Он вылетел в окно, заметался по улице и проулкам, сплелся веревкой с воплями Сыма Тина, и это хитросплетение звука змейкой проскользнуло через торчащие из ушей седые волосы пастора Мюррея, высокого, сутулого, с шапкой рыжих волос на большой голове. Он в это время забирался по прогнившим ступеням лестницы на колокольню и, вздрогнув, остановился. В голубых глазах, вечно слезящихся, как у заблудшей овцы, и неизменно трогающих своей добротой, блеснул лучик радостного удивления. «Всемогущий Боже...» – пробормотал он с жутким дунбэйским акцентом, как говорят в Гаоми, и, перекрестившись большой красной пятерней, стал карабкаться дальше. Поднявшись на самый верх, он ударил в покрытый зеленой патиной медный колокол, который когда-то висел во дворе буддийского монастыря.

В розовых лучах раннего утра поплыл унылый звон. После первого удара колокола, вслед еще за одним криком о скором появлении японских дьяволов, у Шангуань Лу отошли воды. Вместе с запахом козлятины волнами наплывал то густой, то едва уловимый аромат цветков софоры. Перед глазами с удивительной четкостью мелькнула рожица, где она в прошлом году предавалась любви с пастором Мюрреем, но из этих воспоминаний ее вырвала свекровь, которая вбежала в комнату с высоко поднятыми, заляпанными кровью руками. Ужас какой-то: казалось, от них сыплются зеленоватые искорки.

– Не родила еще? – услышала она громкий голос и чуть ли не со стыдом мотнула головой.

Голова свекрови подрагивала в ярком солнечном свете, и Шангуань Лу с удивлением заметила у нее в волосах седину.

– А я думала, уже.

Свекровь потянулась к ее животу – большие костяшки пальцев, крепкие ногти, жесткая кожа, вся будто в мозолях, даже на внешней стороне ладоней, – и страх только усилился. Хотелось отстраниться от этих привычных к железу, а сейчас перепачканных ослиной кровью рук, но сил не было. Руки бесцеремонно надавили на живот, отчего даже сердце перестало биться и по всему телу прокатилась волна ледяного холода. Не сдержавшись, Шангуань Лу несколько раз вскрикнула – не от боли, а от страха. Руки грубо ощупывали ее, давили на живот, а под конец свекровь и вовсе хлопнула по нему пару раз, как по арбузу, будто расстроившись, что купила неспелый.

Наконец руки оставили ее в покое и повисли в солнечном свете – тяжелые, неудовлетворенные. Сама свекровь легко плыла перед глазами большой тенью, и только эти руки – реальные, могучие, – казалось, могли делать все что угодно и с кем угодно. Ее голос донесся откуда-то издалека, словно из глубокого пруда, вместе с запахом ила и пузырями раков:

– ...Зрелая дыня сама падает, как время придет... Ничто ее не остановит... Потерпи чуток, о-хо-хо... Неужто не боишься, что люди засмеют, неужто не страшно, что и твои дочки драгоценные будут потешаться над тобой?..

Одна из этих гадких рук снова опустилась на ее торчащий живот и стала постукивать по нему: послышались глухие звуки, словно от отсыревшего барабана из козлиной кожи.

– Ну и неженки пошли нынче бабы! Я когда муженька твоего рожала, еще и подошвы для тапок прошивала...

Наконец постукивание прекратилось, и рука убралась в тень смутным абрисом звериной лапы. Голос свекрови мерцал в полумраке, и волна за волной накатывался аромат софоры.

– Гляжу я на этот живот – ведь какой огромный, и знаки на нем особые, должен быть мальчик. Вот будет удача и для тебя, и для меня, для всей семьи Шангуань. Бодхисатва, яви присутствие свое! Правитель небесный, оборони! Ведь без сына ты всю жизнь как рабыня, а с сыном сразу хозяйкой станешь. Веришь ли в то, что говорю? Веришь или не веришь – дело твое, вообще-то ты и ни при чем...

– Верю, матушка, верю! – преданно поддакнула Шангуань Лу.

В это время ее взгляд упал на темные потеки на противоположной стене, и душа исполнилась невыразимых страданий. Она вспомнила, как три года назад, когда она родила седьмую дочку, Цюди, ее муж, Шангуань Шоуси, так рассвирепел, что запустил в нее деревянным вальком и разбил голову, отсюда и потеки крови на стене.

Свекровь принесла и поставила рядом с роженицей неглубокую корзинку. Теперь ее слова полыхали яркими языками пламени, отбрасывая красивые отблески:

– Повторяй за мной: «Ребенок у меня в животе – бесценный сын», – говори быстрее!

В корзинке сверху нелущеный арахис. Лицо свекрови исполнено доброты, произносила она эти слова очень торжественно – этакая наполовину небожительница, наполовину любящая родительница, – и тронутая до слез Шангуань Лу, всхлипывая, проговорила:

– У меня в животе – бесценный сын, я ношу сыночка... моего сыночка...

Свекровь сунула горсть орешков ей в руку и велела повторять: «Хуашэн¹², хуашэн, хуашуашэн, есть мужское, есть женское, гармония ян и инь». Шангуань Лу взяла орешки, благодарно бормоча за свекровью: «Хуашэн, хуашэн, хуа-хуашэн, есть мужское, есть женское, гармония ян и инь».

Шангуань Люй опустила голову, и слезы ручьем полились у нее из глаз.

– Явись, бодхисатва, спаси и сохрани, правитель небесный, да снизойдет премное благословение на семью Шангуань! Луци орешки и жди своего часа, мать Лайди, а у нас черная ослица должна принести муленка, он у нее первый, так что оставаться с тобой не могу.

– Ступайте, ступайте быстрее, матушка, – проговорила растроганная невестка. – Господи, спаси черную ослицу семьи нашей, дай ей благополучно разрешиться от бремени...

Шангуань Люй вздохнула и, пошатываясь, вышла из дома.

¹² Хуашэн – арахис.

Глава 3

В пристройке горела закопченная лампа, заправленная соевым маслом. Она стояла на каменном жернове, и тусклый язычок пламени беспокойно метался, пуская завитки черного дыма. Запах горелого масла смешивался с вонью ослиного навоза и мочи – дышать было нечем. Рядом с жерновом стояло позеленевшее каменное корыто для ослов. Между жерновом и корытом и лежала ослица семьи Шангуань.

Вошедшая Шангуань Люй могла различить лишь огонек лампы.

– Кого родила-то? – донесся из темноты обеспокоенный голос Шангуань Фулу.

Урожденная Люй скривила губы в сторону мужа и ничего не ответила. Она прошла мимо лежащей на земле ослицы и стоящего рядом с ней на коленях Шангуань Шоуси, который массирует ей живот, и в сердцах сорвала с окошка черную бумагу. И тут же яркие солнечные лучи высветили полстены золотыми ромбами. Потом она подошла к лампе и задула ее. Запах горелого масла быстро пересилил зловоние. Темное лоснящееся личико Шоуси засияло золотистым блеском, маленькие черные глазки загорелись, как два пылающих уголька. Робко глянув на мать, он тихо проговорил:

– Матушка, бежать надо. Из Фушэнтана все убежали уже, скоро японцы здесь будут...

Люй бросила на него взгляд, в котором читалось: «Эх, был бы ты мужиком!» – поэтому он отвел глаза и опустил вспотевшее лицо.

– Кто тебе сказал про японцев? – зло вскинулась она на сына.

– Да вот хозяин Фушэнтана всё стреляет да голосит... – пробормотал Шоуси, утирая пот. На руку ему налипли ослиные волоски; по сравнению с большой, мясистой ладонью матери она казалась маленькой, тонкой. Губы у него перестали трястись, как у ребенка, ищущего грудь, он поднял голову и, прислушиваясь, насторожил изящные ушки:

– Матушка, батюшка, слышите?

В пристройку неторопливо вплывал хриплый голос Сыма Тина:

– Почтенные отцы и матери, дядья и тетки, зятья и невестки, братья и сестры! Бегите, спасайтесь, переждите напасть в пустошах к юго-востоку, в посевах ячменя! Японцы скоро будут здесь – весть эта верная, никакие не выдумки. Земляки, не медлите ни минуты, бегите, плюньте на эти свои развалюхи-дома! Пока вы живы, и горы зелены; коли есть люди, то и мир не закончится. Бегите, земляки, пока не поздно...

– Матушка, слышала? – в испуге вскочил Шоуси. – Надо и нам бежать, что ли...

– Бежать... А куда бежать-то? – недовольно бросила урожденная Люй. – Тем, что в Фушэнтане, ясное дело, самый след бежать, а нам-то чего? Мы, семья Шангуань, кузнечным делом да крестьянским трудом зарабатываем, у нас ни недоимок по зерну, ни долгов по налогам в казну. Кто бы ни стоял у власти, наше дело подчиненное. Или японцы не люди? Да, они захватили Дунбэй, но куда им без нас, без народа, кто будет возделывать поля и платить аренду? Эй, отец, ты ведь глава семьи, верно я говорю или нет?

Шангуань Фулу разжал губы, обнажив два ряда крепких желтых зубов, но по выражению лица было не понять, улыбается он или хмурится.

– Тебе вопрос задали! – подняла голос Люй. – Что ощерился, зубы кажешь? Ну хоть жерновом по нему катать, все одно ничего не выдавишь!

– Мне-то почем знать! – бросил Фулу с кислым выражением на лице. – Скажешь «Побежали!» – побежим, скажешь «Нет», так и не побежим!

– Коли нету счастья, нету и беды, – вздохнула Люй. – А как беде прийти, от нее не уйти. Что замерли? Быстро на брюхо жмите!

Шоуси почмокал губами и, набравшись храбрости, спросил громко, но без особой уверенности:

– Так родила, нет?

– У настоящего мужчины должно быть что-то одно на уме. Твое дело – ослица, нечего о наших женских делах переживать, – отрезала Люй.

– Она жена мне... – промямлил Шоуси.

– Никто и не говорит, что не жена.

– Чую, на этот раз мальчик будет, – не отставал Шоуси, давя на ослицын живот. – Пузо такое огромное, аж страх берет.

– Эх, ни на что ты не годишься... – вздохнула его мать. – Спаси и сохрани нас бодхисатва.

Шоуси хотел сказать что-то еще, но она глянула на него с такой досадой и ненавистью, что он прикусил язык.

– Вы тут занимайтесь, а я пойду посмотрю, что на улице делается, – заявил Фулу.

– А ну вернись! – Ухватив мужа за плечо, Люй пихнула его к ослице: – Тебе какое дело, что там на улице? – загремела она. – Ослицу давай пользуй, чтоб родила поскорее! О бодхисатва, правитель небесный, ведь какие всегда мужики были в роду Шангуань – гвозди зубами перекусывали, откуда у них такие дрянные потомки!

Фулу склонился над ослицей и, протянув такие же нежные и маленькие, как у сына, руки, стал массировать содрогавшееся в конвульсиях брюхо. Оба склонились над ней, разинув рот и стиснув зубы, – этакие товарищи по несчастью. Когда один нагибался, другой выпрямлялся, и наоборот. Так они и раскачивались, как дети на качелях. Соответственно, и руки у них еле скользили по шкуре ослицы. Ни тот ни другой силы не прикладывали, и массаж получался поверхностный, халтурный. Стоявшая позади Люй уныло покачала головой, потом ухватила мужа за загривок железной ручищей, как щипцами, приподняла и, рыкнув: «А ну, прочь!» – легонько подтолкнула, отчего пользующийся незаслуженной славой кузнеца Шангуань Фулу отлетел в угол и приземлился на мешок с кормом для скота.

– Подымайся! – рывкнула она на сына. – Путаешься только под ногами. Поесть-попить не дурак, а как работать – так и руки не поднять! Правитель небесный, что за наказание такое!

Шоуси вскочил, словно ему амнистию дали, и шмыгнул в угол к отцу. Черные глазки обоих шныряли по сторонам, а на лицах застыло туповатое, с хитрецей, выражение. Тут вновь донеслись крики Сыма Тина, и отец с сыном беспокойно заметались, будто им срочно понадобилось по нужде.

Не обращая внимания на загаженную землю, Шангуань Люй, сосредоточившись, опустилась на колени перед брюхом ослицы, закатала рукава и потерла свои большие руки с режущим слух звуком – будто терла подошвы тапок одну о другую. Прижалась щекой к брюху и прищурилась, внимательно прислушиваясь. Потом погладила ослицу по морде и растроганно произнесла:

– Ну давай, милая, постарайся! Такая уж наша бабья доля, никуда от этого не денешься! – Потом, пропустив ее шею между ног и изогнувшись, положила руки ей на брюхо и стала с силой толкать вперед, словно строгая рубанком. Ослица жалобно вскрикнула, согнутые ноги судорожно распрямились, копыта задрожали, словно выбивая дробь на невидимых больших барабанах, и эти беспорядочные звуки эхом отразились от стен пристройки. Вывернув шею, она на какой-то миг подняла голову и тут же тяжело уронила ее на землю. Казалось, упал кусок мокрого, клейкого мяса.

– Потерпи еще немного, голубушка, нас ведь никто не заставлял рождаться женщинами, верно? Стисни зубы, поднатужься... Ну, поднатужься, милая... – негромко приговаривала Шангуань Люй.

Она прижала руки к груди, чтобы набраться сил, перевела дух и медленно, но настойчиво снова стала давить вперед. Ослица корчилась в конвульсиях, из ноздрей у нее выступила желтоватая жидкость, голова со стуком моталась из стороны в сторону, а всё вокруг заливало водами вместе с жидким навозом. Отец с сыном в ужасе закрыли глаза.

– Земляки, конный отряд японских дьяволов уже выступил из уездного города, сведения у меня верные, не болтовня какая, бегите, а то поздно будет... – Преданные призывы Сыма Тина лезли в уши с необычайной отчетливостью.

Когда отец с сыном открыли глаза, Шангуань Люй сидела у головы ослицы и, глядя в пол, пыталась отдышаться. Белая рубашка насквозь промокла от пота, и на спине рельефно проступили лопатки. Между ног ослицы натекла лужица алой крови, а из родовых путей торчала тоненькая и слабенькая ножка муленка. Она смотрелась так неестественно, что казалось, кто-то злонамеренно засунул ее туда.

У Люй сильно подергивалась щека. Она снова приложила ее к брюху ослицы и долго прислушивалась. Шоуси не сводил глаз с лица матери, отливавшего безмятежным золотистым цветом перезрелого абрикоса. Крики Сыма Тина без конца носились в воздухе, будто слетевшиеся на вонь мухи, которые то облепляли стену, то снова садились на шкуру ослицы. Шоуси была нервная дрожь, словно в предчувствии большой беды. Хотелось выскочить из пристройки, но духу не хватало. Казалось, стоит выйти за порог, как тут же попадешь в лапы проклятых японских дьяволов – коротконогих и короткоруких; говорят, носы у них торчат, как головки чеснока, и глаза навывкате, словно бубенчики. А еще они поедают у людей сердце и печень и пьют кровь. Сожрут ведь подчистую, ни косточки не оставят.

А сейчас, наверное, мчатся толпой по проулкам, преследуя женщин и детей, взбрыкивая и храпя, как жеребцы. Он покосился на отца, пытаясь обрести утешение и уверенность. Шангуань Фулу, эта насмешка над профессией кузнеца, сидел на мешке, бледный от страха, обхватив руками колени. Он беспрестанно раскачивался взад-вперед и стучался спиной и затылком об стену. В носу у Шоуси почему-то защипало, и из глаз покатались слезы.

Урожденная Люй кашлянула и медленно подняла голову.

– Что ж ты натворила, голубушка, – вздохнула она, поглаживая морду ослицы. – Ну как тебя угораздило выпростать сначала ногу? Разве не знаешь, глупая, что при родах перво-наперво должна идти голова?.. – На погасших глазах животного выступили слезы. Люй вытерла их, звучно высморкалась и повернулась к сыну: – Иди за мастером Фань Санем. Эх, думала сэкономлю пару бутылей вина да свиную голову, но, видать, придется потратиться. Ступай за ним!

Отпрянув к стене, Шоуси с отвисшей челюстью в ужасе уставился на ворота, ведущие в проулок.

– Там же полно японцев, там полно японцев... – промямлил он.

Взбешенная Люй вскочила, пересекла двор и распахнула ворота. Во двор ворвался свежий ветер, который в начале лета дует с юго-запада, неся с собой терпкий дух созревающей пшеницы. В проулке царил тишина и не было ни души, только в воздухе кружился целый рой черных бабочек – абсолютно нереальное зрелище. От черного пятна рябило в глазах, и Шоуси посчитал это недобрый знаком.

Глава 4

Ветеринар Фань Сань – он же Мастер-Лучник – жил на восточной окраине деревни, рядом с заросшей травой низиной, что тянулась на юго-восток до самой Мошуйхэ – Чернильной речки. Сразу за его домом начинался берег извивающейся на многие километры Цзяолунхэ – реки Водного Дракона. Под нажимом матери Шангуань Шоуси вышел из ворот, хотя ноги у него подкашивались. Раскаленный белый шар солнца, уже перевалившего за верхушки деревьев, заставлял ослепительно сиять с десятков цветных витражей на церковной колокольне, а на такой же высокой, как и колокольня, сторожевой вышке пританцовывал хозяин Фушэнтана Сыма Тин. Он уже охрип, но не переставал выкрикивать, что японцы скоро будут в деревне. На него, задрав головы и сложив руки на груди, смотрели несколько зевак. Шоуси остановился посреди проулка, соображая, как лучше добраться до дома Фань Саня. Пути было два: по главной улице и по берегу реки. Если идти по берегу, можно нарваться на свору черных псов семьи Сунь. Дом этой семьи, старая развалюха на северном конце проулка, был окружен невысокой стеной, в которой зияло множество проемов. На еще не обвалившихся участках обычно устраивались куры.

Под началом тетушки Сунь была целая ватага из пяти немых внуков. Их родителей будто никогда и не существовало. Все пятеро то и дело забирались на стену, усаживаясь в проемы будто в седла воображаемых скакунов. С палками, пращами или самодельными деревянными мечами и копьями в руках они, яростно посверкивая белками, провожали мрачными взглядами каждого проходящего по проулку – неважно, человека или животное. К людям они хотя бы какое-то уважение испытывали, а вот к животным – никакого. Будь то теленок или кот, гусь, утка, курица или собака, стоило им заметить его, они вместе со своими собаками тут же бросались вдогонку, и деревенская улица превращалась в охотничьи угодья. В минувшем году они загнали и прикончили сорвавшегося с привязи мула из Фушэнтана и тут же при всех освежевали. Немало зевак собралось посмотреть, чем все это закончится: Фушэнтан – семья солидная, двоюродный брат у них где-то полком командует, свояк – офицер полиции в городе, дома целый вооруженный отряд, который на всех страх наводит. Стоит хозяину Фушэнтана топнуть ногой, пол-уезда затрясется. Взять и зарезать мула такой семьи среди бела дня – что это, если не самоубийство? А младший хозяин Фушэнтана Сыма Ку, великолепный стрелок с красным родимым пятном величиной с ладонь на лице, не только не достал пистолет, но вынул из кошелька пять серебряных даянов¹³ и роздал всем пятерым. С тех пор братья и вовсе удержу не знают, и любая птица в деревне, завидев их, проклинает родителей за то, что дали лишь два крыла.

Когда они с вызывающим видом восседали в своих «седлах», пять псов – черные, без единого волоска другого цвета, словно их вытащили из лужи туши, – лежали, лениво растянувшись у стены и прикрыв до щелочек глаза, словно в полудреме. К Шоуси, жившему с ними в одном проулке, братья Сунь и их псы питали явную нелюбовь. Оставалось только гадать, когда и где он провинился перед этими десятью злыми духами. Всякий раз, когда он заставлял их верхом на стене, а псов лежащими под ней, ничего хорошего ждать не приходилось. Он всегда улыбался немым, но это не помогало, и свора черных псов все равно летела к нему пятеркой стрел. Набрасывались они, чтобы попугать, и ни разу не укусили, но он испытывал при этом такой ужас, что при одном воспоминании кидало в дрожь.

Можно направиться на юг и добраться до дома Фань Саня по главной улице. Но это значит, что придется идти мимо церкви, а там в это время перед воротами под покрытым колючками и испускающим терпкий запах цветущим желтодревесником наверняка сидит на корточ-

¹³ Даян – серебряный доллар, имевший хождение в Китае в 1911–1930 гг.

ках этот рослый здоровяк пастор Мюррей, рыжеволосый и голубоглазый, и доит свою старую козу, ту самую, у которой борода с тремя завитками. Большими красными ручищами, покрытыми редкими и мягкими золотистыми волосами, он тискает ее набухшие красные соски, и белое до голубизны молоко звонкими струйками бьет в тронутый ржавчиной эмалированный таз. Вокруг пастора с козой с жужжанием роятся красноголовые зеленые мухи. Терпкий запах желтодревесника вкупе с козым духом и тем, чем несет от Мюррея, – это жуткое зловоние, которое разносится в залитом солнцем воздухе и отравляет пол-улицы. А самое противное, добивал себя Шоуси, когда этот невыносимо провонявший пастор поднимает голову из-за козьего зада и бросает на тебя рассеянный взгляд, хотя на лице у него в этот момент светится доброжелательная и сострадательная улыбка. Но в улыбке губы пастора подергиваются и обнажаются белые лошадиные зубы. При этом его толстые грязные пальцы осеняют мохнатую грудь крестным знамением – аминь! Каждый раз у Шоуси все внутри переворачивается, душу охватывают необъяснимые чувства; он поджимает хвост, как пес, и спешит убраться прочь.

Собак возле дома немых он избегал, потому что боялся, а Мюррея с его козой – потому что противно. Еще более противно потому, что его жена, Шангуань Лу, испытывает какие-то особо теплые чувства к этому рыжему дьяволу, она его преданная последовательница, он для нее – божество.

После этих мучительных раздумий Шоуси решил все же отправиться за Фань Санем, следуя на северо-восток, хотя его очень тянуло к вышке и глазающим вниз зевакам. В деревне всё спокойно, если не считать Сыма Тина, который там, наверху, смахивал на дрессированную обезьяну. Страх перед японцами исчез, осталось лишь восхищение матерью: умеет же оценивать ситуацию!

Для отпора пятерке злых псов он запасся парой кирпичей. С улицы донесся пронзительный крик мула, где-то мать звала детей.

Приблизившись к двору Суней, он с облегчением увидел, что на стене никого нет и вокруг всё тихо: ни немых, оседлавших проемы, ни кур на гребне стены, ни дремлющих под ней собак. Стена и так невысока, с проема вообще весь двор виден как на ладони. Там шла настоящая бойня. Жертвами в этой бойне были одинокие, но гордые куры семьи Сунь, а устроила ее сама старуха Сунь, женщина весьма умелая. Про нее говаривали, что в молодости она ловко ходила по крышам и перепрыгивала через стены, промышляла в округе грабежами да и замуж за печника Суня вышла, лишь когда ею всерьез заинтересовался закон. Во дворе, на гладкой, отливающей белизной земле уже валялось семь куриных тушек, и следы крови вокруг обозначали места предсмертных трепыханий. Еще одна курица с перерезанным горлом выпала из рук тетушки Сунь, стукнулась о землю, но, забив крыльями, вскочила на ноги и забегала кругами. Пятеро немых, голые по пояс, сидели на корточках под карнизом и тупо переводили взгляды с бегающей кругами курицы на бабку с ножом в руках. Выражение их лиц, движения были поразительно одинаковыми, даже глаза двигались как по команде. Репутация тетушки Сунь в деревне была известная, а сейчас на дворе орудовала сухонькая, сморщенная старушка. Но лицо, стать и движения еще сохранили следы прошлого, и можно было представить, какой молодницей она была. Пятерка псов сидела, сбившись вместе и подняв головы с такой безбрежной таинственностью и отрешенностью в глазах, что можно было лишь гадать, что у них на уме.

Происходящее во дворе Суней завораживало, как хорошая театральная пьеса. Зрелище это приковало к себе взгляд Шоуси и заставило его остановиться, забыть обо всех переживаниях, а самое главное – о поручении матери. Опершись на стену, этот низкорослый сорокадвухлетний мужичок полностью отрешился от всего, поглощенный открывшимся перед ним действием, и тут по нему мягко, как вода, острым, как ветер, лезвием драгоценного меча скользнул и чуть не снес полмакушки ледяной взгляд тетушки Сунь. Немые и собаки тоже повернули головы в его сторону. Глаза немых аж сверкали от злобного возбуждения.

Собаки, наклонив головы, обнажили белые клыки и приглушенно зарычали. Шерсть на загривках встала дыбом. словно пять стрел в натянутой тетиве, они могли в любой момент рвануться вперед. «Пора убираться подобру-поздорову», – подумал Шоуси и в ту же минуту услышал величественное покашливание тетушки. Головы немых, которые, казалось, разбухли от возбуждения, вдруг расстроено опустились, а псы покорно растянулись на земле, выставив перед собой передние лапы.

– Что поделявает твоя матушка, уважаемый племянник Шангуань? – донесся до него спокойный голос.

Он не сразу и сообразил, что ответить: столько хотелось всего сказать, но он не мог вымолвить ни слова и, густо покраснев, лишь бормотал, как схваченный за руку воришка.

Тетушка усмехнулась. Ухватив большого петуха с красно-черным хвостом, она легонько поглаживала его блестящее шелковистое оперение. Петух беспокойно покрикивал, а она выщипывала из хвоста мягкие перья и бросала в мешок из рогоза. Петух ожесточенно вырывался и рыл когтями землю.

– У вас в семье девочки в ножной волан играть умеют? – спросила она. – Лучше всего играть в волан из перьев с живого петуха. Эх, вспомнишь, как бывало...

Глянув на Шоуси, она оборвала фразу и погрузилась в воспоминания. Глаза ее вроде бы уставились в стену, а вроде бы глядели сквозь нее. Шоуси смотрел, не моргая и боясь даже вздохнуть. Наконец тетушка Сунь обмякла, словно сдувшийся шарик, блеск в глазах погас, и взгляд стал мягким и печальным. Она наступила петуху на ноги, левой рукой ухватила за основание крыльев, а большим и указательным пальцами правой сдавила шею. Петуху уже было не дернуться, и он перестал трепыхаться. Она принялась выщипывать плотно растущие тонкие перышки на шее, пока не показалась голая кожа. Согнув средний палец, щелкнула петуху по горлу. Потом достала небольшой сверкающий кинжал в форме ивового листа, неумовимое движение – и из надреза на горле птицы сначала забила, а потом закапала черная кровь...

Держа в руке истекающего кровью петуха, тетушка неторопливо поднялась. Оглянулась по сторонам, словно что-то ища. Прищурилась от яркого солнечного света. У Шоуси все поплыло перед глазами. В воздухе висел душливый запах софоры.

– Пошел ты! – Это был голос тетушки Сунь. Черный петух кувырнулся в воздухе и тяжело шлепнулся посреди двора.

Шоуси протяжно вздохнул и медленно снял руки со стены. Он вдруг вспомнил, что надо идти за Фань Санем, чтобы тот помог черной ослице, и уже собрался было двинуться дальше, но петух вдруг забил крыльями и каким-то чудом встал на ноги. От одного вида выщипанного хвоста и безобразно торчащей гузки Шоуси охватила паника. Из перерезанной шеи текла кровь, гребешок – когда-то красный, а теперь иссиня-белый – свесился набок. Но петух изо всех сил старался поднять голову. Старался что было мочи! Голова то поднималась, то падала, безвольно болтаясь. После нескольких попыток ему таки удалось поднять ее, но она качалась из стороны в сторону. Петух опустился на землю, в клюве и в ране на шее пузырилась кровь. Золотистыми звездочками блестели глаза. Немного обеспокоенная тетушка Сунь вытерла руки о траву. Казалось, она что-то жевала, хотя на самом деле во рту у нее ничего не было. Вдруг она смачно сплюнула и крикнула собакам:

– Ату его!

Шангуань Шоуси так и шлепнулся задом на землю.

Когда он встал, держась за стену, во дворе Суней летели во все стороны черные перья, гордого петуха уже разодрали в клочья, кровь была повсюду. Собаки по-волчьи грызлись за петушиные потроха. Немые хлопали в ладоши и по-дурацки хохотали. Тетушка сидела у порога и попыхивала длинной трубкой, будто в глубоком раздумье.

Глава 5

Привлеченные еле слышным запахом, семеро девочек семьи Шангуань – Лайди (Ждем Братика), Чжаоди (Зовем Братика), Линди (Приводим Братика), Сянди (Думаем о Братике), Паньди (Надеемся на Братика), Няньди (Хотим Братика) и Цюди (Просим Братика) – выскользнули из восточной пристройки, где они обитали, и сгрудились под окном Шангуань Лу. Семь головок с растрепанными волосами, в которых застряли сухие травинки, заглядывали, пытаясь понять, в чем дело. Мать сидит, откинувшись на кане и неспешно пощелкивая арахис, – вроде бы ничего особенного. Но вот этот запах – явно тянет из окна матери. Лайди, которой уже исполнилось восемнадцать, первой поняла, что происходит. Мокрые от пота волосы матери, прикушенная до крови нижняя губа, страшно подергивающийся живот и полная комната мух. Руки, лущившие орешки, извивались от боли, а сами орешки крошились на мелкие кусочки.

– Мама! – вырвалось у Лайди, и к горлу подступили рыдания.

Вслед за ней маму стали звать и остальные шестеро сестер. Все расплакались. Разревелась и самая младшая, Цюди. Неуклюже перебирая ножками, сплошь в укусах блох и комаров, она побежала в комнату. Лайди догнала ее и подхватила на руки. Не переставая реветь, Цюди сжала кулачки и стала колотить сестру по лицу:

– К маме хочу... К маме...

В носу у Лайди защипало, к горлу подкатил комок, и горячие слезы хлынули из глаз.

– Не плачь, Цюди, не плачь, – похлопывала она сестренку по спине. – Мама родит нам маленького братика, беленького такого, пухленького...

Из комнаты донесся слабый стон Шангуань Лу, она отрывисто проговорила:

– Лайди... уведи сестер... Они маленькие еще, не смыслят ничего, сама, что ли, не понимаешь...

В комнате что-то загрохотало, и Шангуань Лу взвыла от боли. Пятеро девочек вновь сгрудились у окна, а четырнадцатилетняя Линди громко вскрикнула:

– Мама, мамочка!..

Лайди опустила сестренку на землю и рванулась в комнату на маленьких ножках, которые начали было бинтовать¹⁴, но перестали. Споткнувшись о гнилой порожек, она задела кузнечные мехи. Они упали и разбили синюю фарфоровую чашу для подаваний, в которой держали корм для кур. В испуге вскочив, Лайди увидела бабку. Та стояла на коленях в дыму от ароматических палочек перед образом Гуаньинь.

Дрожа всем телом, Лайди поправила мехи, потом стала бестолково собирать осколки, будто так можно было вернуть разбитой чаше первоначальный вид или как-то загладить вину. Бабка стремительно вскочила. Она покачивалась из стороны в сторону, как старая перекормленная кобыла, голова у нее яростно подрагивала, а изо рта один за другим вырывались странные звуки. Лайди инстинктивно сжалась, обхватив голову руками и ожидая, что сейчас посыплются удары. Но ударов не последовало. Бабка лишь ухватила ее за большое бледное ухо, подняла и выпихнула на улицу. С пронзительным воплем девушка шлепнулась на позелевшие кирпичи дорожки во дворе. Оттуда ей было видно, как бабка наклонилась и долго смотрела на осколки. Теперь она напоминала буйвола на водопое. Потом выпрямилась, держа осколки в руках, легонько постучала ими, и они откликнулись звонкими мелодичными звуками. Лицо бабки было сплошь изрезано морщинами, опущенные вниз уголки рта соединялись с глубокими складками, спускавшимися на нижнюю челюсть, которую, казалось, когда-то просто добавили к лицу.

¹⁴ По традиции одним из элементов женской красоты в старом Китае считалась маленькая ножка-«лотос». С этой целью девочкам бинтовали ноги для прекращения роста ступни.

Лайди бросилась на колени:

– Бабушка, избежь меня до смерти!

– Избить тебя до смерти? – печально повторила урожденная Люй. – От этого чаша целее не станет. Это же фарфор династии Мин, времен правления императора Юнлэ¹⁵, часть приданого вашей прабабушки. За нее можно было целого мула купить!

Мертвенно-бледная Лайди молила бабку о прощении.

– Замуж тебя выдать надо! – вздохнула Шангуань Люй. – Нет чтобы делами заниматься с утра пораньше, а ты носишься, как злой дух. Матери несчастной и той не даешь помереть спокойно.

Лайди закрыла лицо руками и разрыдалась.

– А ты думала, хвалить буду за то, что ты мне посуду бьешь? – недовольно продолжала бабка. – Убирайся-ка с глаз моих долой, забирай своих милых дармоедок-сестричек и отправляйтесь на Цзяолунхэ креветок ловить. И пока полную корзину не наберете, лучше не возвращайтесь!

Лайди торопливо вскочила, подхватила малышку Цюди и выбежала за ворота.

Шангуань Люй шуганула туда же, за ворота, как кур, и Няньди, и всех остальных девочек, а потом швырнула в руки Линди узкогорлую корзину для креветок.

Прижав к груди Цюди, Лайди взяла за руку Няньди, та потянула за собой Сянди, Сянди потащила Паньди, а Линди одной рукой волокла Паньди, а в другой несла корзину. Так, друг за другом, с плачем и всхлипываниями семеро сестер Шангуань направились по залитому солнцем проулку, где гулял западный ветер, в сторону Цзяолунхэ.

Проходя мимо двора тетушки Сунь, они почувствовали приятный запах. Из трубы поднимался белесый дымок. Пятеро немых, как муравьи, таскали в дом дрова и солому, а черные псы в явном ожидании лежали у дверей, высунув красные языки.

Девочки забрались на высокий берег реки, и двор Суней стало видно как на ладони. Пятерка немых их заметила. Старший подвернул верхнюю губу, над которой пробивались черные усики, и улыбнулся Лайди. Та залилась краской. Она вспомнила, как не так давно ходила на реку за водой и этот немой бросил ей в ведро огурец. Его хитроватая ухмылка показалась не злой и даже приятной, сердце впервые как-то странно забилося, и кровь прилила к щекам. Она посмотрелась в ровную, как зеркало, поверхность воды: лицо просто горело. Этот хрусткий огурец она потом съела и долго не могла забыть его вкус. Она подняла глаза на сияющую церковную колокольню и сторожевую вышку, на площадке которой золотистой обезьяной прыгал мужчина.

– Земляки, – кричал он, – конный отряд японцев уже выехал из города!

Внизу собралась целая толпа. Люди, задрав головы, смотрели на этого мужчину, который то и дело свешивался через перила, похоже, отвечая на вопросы собравшихся. Дав ответ, он выпрямлялся, обходил площадку и, сложив ладони рупором, снова кричал на всю округу, что японцы скоро войдут в деревню.

На главной улице показалась коляска на резиновых шинах. Откуда она только взялась – словно с неба свалилась или выросла из-под земли. Запряженная тройкой лошадей, она мчалась под перестук двенадцати копыт, вздымая за собой желтое облако пыли. Разномастные лошади – одна желтоватая, как абрикос, другая темно-коричневая, как финик, а третья бледно-зеленая с желтизной, – откормленные, лоснящиеся, словно вылепленные из воска, завораживали взгляд. Позади коренного стоял, расставив ноги, смуглый человечек, и издали казалось, что он сидит верхом. «Хэ, хэ, хэ!» – выдыхал он, щелкая большим кнудом с красной кисточкой. Потом вдруг резко натянул вожжи, и лошади, протестуя заржав, остановились как вкопанные. И экипаж, и лошадей, и возницу накрыло облако пыли. Когда пыль осела, Лайди уви-

¹⁵ Минский император Юнлэ правил в 1402–1424 гг.

дела слуг из Фушэнтана: они грузили в коляску оплетенные бутылки с вином и кипы соломы. На каменных ступенях при входе в усадьбу стоял высоченный детина и громко покрикивал. Одна из бутылей с громким стуком упала, затычка из свиного мочевого пузыря прорвалась, и дорогое вино потекло на землю. Двое слуг бросились поднимать бутылку, а подскочивший детина стал охаживать их плясавшей в его руках плетью. Те присели на корточки, обхватив головы руками и покорно принимая заслуженное наказание. Плеть летала, извиваясь, словно змея; повсюду разносился винный аромат. В просторах полей за деревней под ветром гнулись колосья пшеницы, прокатываясь золотыми волнами.

– Бегите, бегите! – неслись неумолчные крики с вышки. – Всем конец, коли не успеете!..

Многие вышли из домов и бесцельно копошились вокруг, как муравьи. Одни разгуливали, другие бегали, третьи стояли, застыв на месте. Кто двигался на восток, кто на запад, кто ходил кругами, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Ароматы со двора семьи Сунь становились всё явственнее, из дверей дома валил пар. Немых было не слышно и не видно, и во дворе царила тишина. Время от времени изнутри вылетала обглоданная кость, и пятерка черных псов бросалась в драку. Победитель отбегал к стене, забивался в угол и начинал с хрустом глотать а остальные заглядывали в дом, посверкивая красными глазами и тихонько повизгивая.

– Пойдем домой, – потянула старшую сестру за руку Линди.

– Нет, – покачала головой Лайди. – Мы идем на реку за креветками. Вот родит нам мама братика и вдруг захочет поесть супа из наших креветок...

Выстроившись в шеренгу и держась за руки, девочки спустились к реке. В воде отражались их ладные фигурки и симпатичные лица. У всех крупные носы с горбинкой и большие, бледные, мясистые уши, такие же, как у матери. Лайди достала из-за пазухи гребень из персикового дерева и принялась причесывать сестер. На землю посыпалась соломенная труха. Все при этом морщились и попискивали. Потом расчесала волосы себе, заплела в толстую косу и закинула за спину. Кончик косы доставал ей до пояса. Убрав гребень, она закатала штанины, и открылись бледные округлые ноги. Потом скинула синие бархатные туфли, расшитые красными цветами. Сестры во все глаза таращились на изуродованные бинтованием ступни.

– Что уставились? – вдруг вспыхнула Лайди. – Чего не видели? Не наберем креветок – не будет нам пощады от старой карги!

Сестры быстро скинули туфли и закатали штанины, а малышка Цюди вообще осталась голышом. Стоя на илистом берегу, Лайди окинула взглядом неторопливые воды реки и мягко, послушно покачивающиеся на дне водоросли, среди которых играли рыбки. Низко над водой летали ласточки. Она зашла в реку и крикнула:

– Цюди остается на берегу креветок подбирать, остальные – в воду!

Девочки со смехом и визгом последовали за ней.

Когда удлинившаяся от бинтования пятка Лайди погрузилась в ил и нежные, как шелк, водоросли коснулись ног, она ощутила какое-то удивительное, дотоле незнакомое чувство. Нагнувшись, она стала осторожно шарить руками у корней речной травы, где чаще всего прячутся креветки. Что-то маленькое вдруг забилося между пальцами, и ее охватило радостное волнение. В руках трепыхалась и водила красивыми усиками скрюченная, почти прозрачная, величиной с палец креветка. Она бросила ее на берег, и к ней с радостным воплем устремилась Цюди.

– Сестра, я тоже поймала!

– Сестра, и я поймала!

– И я!

Подобрать всех креветок двухгодовалой Цюди оказалось не по силам. Она споткнулась, шлепнулась на попу и заревела. Несколько рачков добрались до реки и снова скрылись в воде.

Лайди подняла сестренку и стала отмывать попу от ила. От каждой пригоршни воды маленькое тельце вздрагивало, раздавался пронзительный визг, к которому примешивался бессмысленный в устах ребенка набор грязных ругательств. Напоследок Лайди шлепнула сестренку и отпустила. Та чуть ли не бегом взлетела на ровное место на берегу, схватила там ветку с прибрежных кустов и, покосившись на старшую сестру, снова разразилась ругательствами, как заправская скандалистка. Лайди не выдержала и рассмеялась.

Остальные сестры уже ушли вверх по течению. На залитом солнцем берегу подпрыгивало несколько десятков креветок.

– Сестра, собирай быстрее! – крикнула одна из младших.

Лайди подняла корзину и обернулась к Цюди:

– Вот вернемся домой, ужо доберусь до тебя, глупышка маленькая! – И принялась быстро подбирать улов.

Однообразное занятие позволило забыть о переживаниях, и она даже замурлыкала неизвестно откуда запомнившийся мотивчик:

– Нет у тебя сердца, матушка моя, за торговца маслом выдала меня...

Вскоре она поравнялась с сестрами, которые вплотную друг к другу двигались вдоль берега, высоко подняв зад и почти касаясь подбородком воды. Они шарили вокруг, медленно продвигаясь вперед. За ними, покачиваясь на поверхности помутневшей воды, плыли оторвавшиеся желтые водоросли. Выпрямлялись девочки – то Линди, то Паньди, то Сянди, – лишь поймав креветку. Все пятеро бросали их на берег почти без остановки. Лайди приходилось подбирать их чуть ли не бегом, за ней хвостиком еле поспевала Цюди.

Они и не заметили, как вплотную подошли к горбатуому каменному мостику через реку.

– Выходите! – крикнула Лайди. – Все выходите! Корзина полная, пора возвращаться.

Сестры нехотя вышли на берег: руки белые от воды, ноги в красноватом иле.

«Сестра, почему сегодня в реке так много креветок? Сестра, а мама, наверное, уже родила нам маленького братика? Сестра, а японские дьяволы – они какие? Они правда маленьких детей едят? Сестра, а почему у немых всех кур перерезали? Сестра, а почему бабка нас все время ругает? Сестра, а мне приснилось, что у мамы большой выюн в животике...» Они засыпали Лайди вопросами, но она ни на один не ответила. Ее глаза были прикованы к мосту, посверкивающему красноватыми бликами. Рядом с ним остановилась примчавшаяся из деревни коляска – та самая тройка на резиновом ходу.

Коротышка-возница сдерживал разгоряченных лошадей, и они, звонко цокая копытами и высекая из камня искры, ступили на мост. В коляску вскочили несколько полуголых мужчин, опоясанных широкими ремнями из воловьей кожи с медными бляхами, сверкающими на солнце. Лайди узнала их: это были охранники из усадьбы Фушэнтан. Сперва они выбросили из коляски кипы соломы, потом начали выгружать бутылки с вином – всего двенадцать. Возница стал поворачивать коренного, чтобы тот сдал назад, и поставил коляску рядом с мостом. Тут она увидела младшего хозяина, Сыма Ку, – он мчался со стороны деревни на велосипеде. Черный сверкающий велосипед всемирно известной немецкой марки, первый в Гаоми и во всем Дунбэе. Ее дед, Шангуань Фулу, – этому всегда нестерпиво, – улучив момент, когда никто не видел, подержался как-то за ручку руля. Но это было прошлой весной, а сейчас желтые глаза младшего хозяина, казалось, метали голубые молнии. Он был в длинном халате из дорогого плотного шелка поверх белых заграничных брюк, перевязанных на лодыжках синими ленточками с черными кистями, и в кожаных туфлях на белой каучуковой подошве. Ноги казались невероятно толстыми, словно штанины надули изнутри. Полы халата были заткнуты за белый шелковый пояс с бахромой на обоих концах. С левого плеча у него спускалась узкая портупея из коричневой кожи. На ней висела кобура, из которой язычком пламени выглядывала полоска красного шелка.

Под звуки заливистого звонка Сыма Ку летел на немецком велосипеде как ветер. Соскочив с него и сняв соломенную шляпу с загнутыми полями, он стал обмахиваться ею как веером, и красное родимое пятно у него на щеке смотрелось как горящий уголь.

– Живее! – громко скомандовал он. – Сваливайте солому на мост и поливайте вином. Поджарим этих собак!

Слуги принялись торопливо носить кипы соломы на мост, и через некоторое время там выросла куча в половину человеческого роста. Вокруг разлетались белые мотыльки, которых привезли вместе с соломой: одни попадали в реку на корм рыбам, другие стали добычей ласточек.

– Лей вино! – заорал Сыма Ку.

Слуги, крича, стали таскать бутылки и открывать их. Забулькало прекрасное вино, по реке поплыл пьянящий аромат, под потоками вина шелестела солома. Много вина растеклось по каменной облицовке моста; оно скапливалось в лужицы, а потом стекало в реку подобно дождевым струям. Когда вылили все двенадцать бутылей, мост засиял, словно вымытый. Солома изменила цвет, а вино все стекало с моста прозрачной завесой. Прошло еще немного времени – одну трубку выкурить, – и на реке белыми цветами стала всплывать опьяневшая рыба. Младшие сестры вознамерились было собрать ее, но Лайди негромко одернула их:

– Не смейте заходить в воду! Сейчас домой пойдем!

Происходящее на мосту было необычно и притягательно, и они просто застыли на месте. В том числе и Лайди, которая звала сестер домой, а сама не спускала глаз с моста.

Стоявший там Сыма Ку с довольным видом хлопал в ладоши, глаза у него блестели, а лицо расплылось в улыбке.

– Кто еще смог бы придумать такой блестящий план! – похвалялся он перед слугами. – Никто, кроме меня, мать вашу! Ну-ка суньтесь теперь, гнусные япошки, узнаете, на что я способен.

Слуги одобрительно зашумели.

– Так что, поджигать, второй господин? – спросил один.

– Нет! Вот появятся, тогда и зажжем, – ответил Сыма Ку и в окружении слуг зашагал с моста.

Коляска повернула обратно в деревню.

Над мостом вновь повисла тишина, которую нарушала лишь капель стекающего вина.

Раздвигая заросли кустарника на склоне, Лайди с корзиной креветок в руке вела сестер на гребень дамбы. Вдруг перед ней возникло смуглое худое лицо. Испуганно вскрикнув, она выронила корзину. Та спружинила на кусте и, подпрыгнув, покатилась вниз, к реке. Вывалившиеся креветки хлынули из нее вьющейся блестящей лентой. Линди устремилась за корзиной, остальные сестры бросились собирать креветок. Боязливо отступив к реке, Лайди не спускала глаз со смуглого лица. На нем появилась извиняющаяся улыбка, и открылись два ряда зубов, сияющих подобно жемчужинам.

– Не бойся, сестренка, – послышался негромкий голос. – Мы партизаны. Давай без шума и постарайся побыстрее уйти отсюда.

Только теперь она разглядела в кустах на дамбе множество людей в зеленой форме. Они вжались в землю, лица и взгляды напряжены, у одних ружья, у других гранаты, а у некоторых лишь ржавые широкие мечи-дао. Смуглолицый, что улыбался ей белозубой улыбкой, в правой руке держал отливающий синевой пистолет, а в левой что-то блестящее и тикающее. Позже она узнает, что это карманные часы, по которым определяют время. А со смуглолицым они в конце концов будут спать под одним одеялом.

Глава 6

Входивший во двор Фань Сань был навеселе.

– Скоро японцы сюда заявятся, выбрала времечко ослица ваша! – недовольно ворчал он. – Хотя что тут говорить, ее мой жеребец покрывал. Кто колокольчик на шею тигру повязал, тому и развязывать. Ты, Шангуань Шоуси, смотрю, молодцом, бережешь репутацию. Хотя, тьфу, какая у тебя репутация! Я только из уважения к матушке твоей. Мы с твоей матушкой... – хохотнул он. – Она мне скребок изготовила – лошадям копыта подрезать...

Шоуси обливался потом и что-то бормотал, едва поспевая за Фань Санем.

– Фань Сань! – послышался громкий голос Шангуань Люй. – Тебя, как духа-покровителя, не дождешься, ублюдок!

– Фань Сань явился! – приосанился тот.

Взглянув на распростертую на земле чуть ли не при последнем издыхании ослицу, он тут же почти протрезвел.

– О-хо-хо, надо же так! Что раньше-то не позвали?

Скинув с плеча сумку из воловьей кожи, он нагнулся, потрепал ослицу по ушам и погладил по брюху. Потом повернулся к заду, потянул за торчащую из родовых путей ногу и, выпрямившись, печально покачал головой:

– Поздно, дрянь дело. Говорил я твоему сыну, когда он привел ее в прошлом году на случку: «Лучше с ослом этого вашего кузнечика спаривать». Так он и слушать не стал, жеребца ему подавай. А мой жеребец племенной, чистокровный японец, одно копыто больше ее головы. Как забрался на нее, так она чуть не грохнулась: ну прямо петух воробыху топчет. Но мой племенной – он племенной и есть, дело свое знает: зажмурился и знай себе охаживает кузнечика вашего. Да будь и чей другой жеребец, что с того? Тоже трудно рожала бы. Ваша для мулов не годится, ей только ослов и приносить, таких же кузнечиков, как сама...

– Фань Сань! – оборвала его рассерженная Люй. – Это и всё, что ли?

– Всё, всё. Что тут еще говорить! – Он поднял сумку, закинул ее на плечо и, снова утратив трезвость, пошатываясь, двинулся к выходу.

Но она схватила его за руку:

– Неужто вот так просто и уйдешь?

– А ты разве не слыхала, почтенная, о чем хозяин Фушэнтана горланит? Скоро уже вся деревня разбежится! Так кто важнее – я или ослица?

– Верно, думаешь, не уважу тебя, почтенный Сань? Будет тебе две бутылки доброго вина и свиная голова. В этой семье я хозяйка.

– Знаю, знаю, – усмехнулся Фань Сань, глянув на Шангуаней – отца и сына. – Таких женщин, чтобы семью кузнеца как клещами держали да с голой спиной молотом махали, во всем Китае не сыщешь, экая силища... – И он как-то странно рассмеялся.

– Не уходи, Сань, мать твою, – хлопнула его по спине Люй. – Как ни крути, две жизни на кону. Племенной – твой сынок, ослица эта сноха тебе, а муленок у нее в животе – внучок твой. Давай уж, расстарайся: выживет – отблагодарю, награжу; не выживет – винить не буду, знать судьба моя такая несчастливая.

– Экая ты молодец: и ослицу, и жеребца в родственники мне определила, – смутился Фань Сань. – Что тут скажешь после этого! Попробую, может вытащу животину с того света.

– Вот это я понимаю, разговор. И не слушай ты, Сань, рассказы этого полоумного Сыма! Ну зачем японцы сюда потащатся? К тому же этим ты благие деяния свои приумножаешь, а черти добродетельных стороной обходят.

Фань Сань открыл сумку и вытащил бутылочку с маслянистой жидкостью зеленого цвета.

– Это волшебное снадобье, приготовлено по тайному рецепту и передается в нашей семье из поколения в поколение. Как раз для случаев, когда у скотины роды идут не так. Дадим ей, а уж если и после него не родит, то даже Сунь Укун¹⁶ не поможет. Ну-ка, подсоби, господин хороший, – махнул он Шангуань Шоуси.

– Я подсоблю, – сказала Шангуань Люй. – У этого все из рук валится.

– Раскудаhtалась курица в семье Шангуань, что петух яиц не несет, – проговорил Фань Сань.

– Если хочешь обругать кого, третий братец, так обругай в лицо, не крути, – подал голос Шангуань Фулу.

– Осерчал, что ли? – вскинулся Фань Сань.

– Будет пререкаться, – вмешалась Шангуань Люй. – Говори давай, что делать?

– Голову ей подними, – скомандовал Фань Сань. – Мне лекарство влить надо!

Люй расставила ноги, напряглась и, обхватив голову ослицы, приподняла ее. Животное замотало головой, из ноздрей с фырканием вылетал воздух.

– Выше! – прикрикнул Фань Сань.

Люй поднатужилась, тяжело дыша и тоже чуть не фырка.

– А вы двое, – покосился на отца с сыном Фань Сань, – неживые, что ли?

Те бросились помогать и чуть не споткнулись об ослиные ноги. Люй закатила глаза, а Фань Сань только головой покачал. В конце концов голову подняли достаточно высоко. Ослица распустила толстые губы и ощерила зубы – длинные, желтые. Фань Сань в это время вставил ей в рот рожок из коровьего рога и влил зеленой жидкости из бутылочки.

Шангуань Люй перевела дух.

Фань Сань достал трубку, набил ее, присел на корточки, чиркнул спичкой, прикурил и глубоко затянулся. Из ноздрей у него поплыл сизый дымок.

– Японцы уездный город заняли, – проговорил он. – Начальника уезда Чжан Вэйхана убили, а его домашних изнасиловали.

– Тоже Сыма наслушался? – уточнила Люй.

– Нет, мой названный брат рассказал. Он там живет за Восточными воротами.

– Через десять ли¹⁷ правда уже не правда, – хмыкнула Люй.

– Сыма Ку отправил слуг на мост кострище устраивать, – вставил Шоуси. – И это, похоже, не выдумки.

– Чего серьезного никогда от тебя не услышишь, – сердито зыркнула мать на сына, – а вот на выдумки горазд. Мужик ведь, детей целая куча, а все не понять, голова у тебя на плечах или пустая тыква. Можно ведь поразмыслить: японцы – они же не без роду-племени, у каждого и отец, и мать имеется. Какая у них может быть вражда или ненависть к нам, простым людям, что они нам сделают? Бежать – так пуля все одно догонит. А если прятаться, то до каких пор?

Отец и сын слушали, понунив головы и не смея пикнуть. Фань Сань вытряхнул пепел из трубки и прокашлялся:

– А ведь почтенная сестрица всё как есть по полочкам разложила, не то что мы – дальше своего носа не видим. После этих твоих слов прямо от сердца отлегло. И верно, куда бежать-то? Где прятаться? Я-то убегу, спрячусь, а своего осла, племенного своего куда дену? Они что две горы – где укроешь? На один день спасешься, а на пятнадцать – не получится. Так что ну их, мать их ети! Нам бы сперва муленка вызволить, а там поглядим.

– Дело говоришь! – поддержала его Люй.

Фань Сань скинул куртку, затянул пояс и прочистил горло, словно мастер ушу перед схваткой.

¹⁶ Сунь Укун – могущественный царь обезьян, персонаж классического романа «Путешествие на Запад».

¹⁷ Ли – мера длины, равная 0,5 км.

– Вот и славно, Сань, вот и славно, уважаемый, – одобрительно кивнув, затараторила Люй. – После человека доброе имя остается, после дикого гуся – только крик. Спасешь муленка – еще бутылъ с меня, буду в барабаны и гонги бить, славу тебе петь.

– Ерунда все это, почтенная сестрица, – отмахнулся Фань Сань. – Разве не я позволил племенному обрюхатить вашу ослицу? Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. – Он обошел ослицу кругом, потянул за торчащую маленькую ножку и пробормотал: – Ну что, родственница, вот и подошли мы с тобой к воротам ада. Туго тебе придется, но ты уж не посрами почтенного Саня. Найдите-ка мне веревку и жердину, – продолжал он, потрепав ослицу по голове. – Лежа ей не родить, надо поднять, чтоб стояла.

Отец с сыном уставились на Шангуань Люй.

– Делайте, что велит почтенный Сань, – бросила она.

Те принесли что требовалось. Взяв веревку, Фань Сань пропустил ее под передними ногами ослицы, завязал сверху узлом и, скомандовал:

– Суй сюда жердину!

Шангуань Фулу повиновался.

– Ты сюда вставай, – указал ветеринар Шоуси. – А теперь оба нагнулись – и жердину на плечо!

Стоящие друг против друга отец с сыном наклонились и подставили плечи.

– Ну вот и славно, – удовлетворенно произнес Фань Сань. – А теперь, не торопясь, по моей команде поднимаем, и чтоб выложились по полной. Получится – не получится, сейчас все и решится. Больше эта животиная вряд ли вынесет. Ты, сестрица, с задуг становись, будешь помогать принимать, чтобы малыш не упал и не покалечился.

Он повернулся к ослиному крупу, потер руки, разогревая, вылил все масло из стоящей на жернове лампы на ладонь, растер по рукам и выдохнул. Сунул руку в родовые пути, и ноги ослицы конвульсивно задергались. Рука Фань Саня проникала все дальше, пока не оказалась внутри по плечо, а щека прижалась к красноватому копытцу муленка. Шангуань Люй смотрела на него во все глаза с трясущимися губами.

– Так, господа хорошие... – выдавил Фань Сань приглушенным голосом. – Считаю до трех, на счет «три» поднимайте как можно выше. Тут речь о жизни и смерти идет, так что не трусить и не отпускать. Ну, – нижняя челюсть у него уперлась в ослиный зад, а глубоко проникшая внутрь рука, казалось, что-то ухватила, – раз, два, три!

Отец с сыном крикнули и с усилием начали выпрямляться. Тело ослицы повернулось, она оперлась на передние ноги, подняла голову, вывернула задние и поджала под себя. Вместе с ней повернулся и Фань Сань: теперь он лежал на земле чуть ли не ничком. Лица не видно, слышался лишь голос:

– Поднимай, поднимай же!

Яростно вытягивая тяжесть вверх, отец с сыном стояли уже почти на цыпочках. Люй полезла под брюхо ослице и уперлась в него спиной. С громким криком та встала на все четыре ноги. И тут же из родовых путей вместе с кровью выскользнуло что-то большое и липкое, попав прямо в руки Фань Саня, а потом мягко съехав на землю.

Фань Сань обтер морду муленка, перерезал ножом пуповину, завязал, отнес его на место почище и вытер всего сухой тряпкой. В глазах Шангуань Люй стояли слезы, она безостановочно повторяла:

– Слава богам неба и земли, благодарение Фань Саню.

Муленок, пошатываясь, встал на ноги, но тут же упал. Мягкая, как бархат, шерстка, красные губы, словно лепестки розы.

– Молодец, – проговорил Фань Сань, помогая муленку встать. – Наша все же порода. Племенной – мой сынок, а ты, малец, стало быть, внучок мне, а я тебе – дед. Почтенная сест-

рица, приготовь немного рисового отвара, покорми мою сноху-ослицу, она, почитай, с того света возвратилась.

Глава 7

Лайди кинулась было бежать, таща за собой сестер, но успела сделать лишь несколько шагов, когда послышался резкий свист, похожий на птичий. Она задрала голову посмотреть, что за птица издает такие странные звуки, и тут сзади, на реке, раздался оглушительный взрыв. В ушах зазвенело, голова затуманилась. К ногам девочек шлепнулся израненный сом, обдав их горячими брызгами. По желтоватой голове текли струйки крови, длинные усы слабо подрагивали, кишки вывалились наружу. Лайди, словно во сне, обернулась к сестрам: они, застыв, уставились на нее. В волосах у Нянди застрял комок спутанных водорослей, похожий на коровью жвачку. К щеке Сянди прилипло несколько серебристых рыбных чешуек. Шагах в десяти река раскатывалась черными волнами, образуя водоворот, куда с шелестом падала поднятая взрывом горячая вода. Над поверхностью поплыла густая белая дымка, разнесся сладковатый запах пороха. Лайди силилась понять, что происходит, и не могла, она чувствовала лишь панический страх. Хотелось закричать, но вместо этого из глаз посыпались крупные слезы. «Почему так хочется плакать? Да и не плачу я вовсе. Отчего тогда слезы? Может, это и не слезы даже, а капли воды из реки?» В голове все смешалось, а на представшей ее глазам картине – посверкивающие балки моста, бурлящая мутная вода в реке, густые кусты, охваченные паникой ласточки, потевшие дар речи сестры – все перепуталось и сплелось в бесконечную круговерть. Она глянула на малышку Цюди: рот приоткрыт, глаза зажмурены, на щеках полосы от слез. Вокруг что-то все время потрескивает: так лопаются пересохшие на солнце стручки фасоли. Заросли кустов на дамбе хранят тайну, тихонько шурша, будто там прячутся сотни маленьких зверушек. Ни звука от людей в зеленом, которых она только что видела. Ветви кустов тянутся вверх, золотистые монетки листьев чуть подрагивают. Неужели они так и прячутся там? А если да, то зачем? Пока она ломала над этим голову, откуда-то, словно издалека, донесся сдавленный крик:

– Сестренки, на землю, быстро! Сестренки, ложись!..

Она оглядывалась, пытаясь определить, откуда этот крик, но перед глазами все плыло и качалось. Казалось, где-то в мозгу ворочается нечто ракообразное, и от этого ужасно больно. С неба упало что-то черное и блестящее. С восточной стороны моста медленно вздыбился столб воды размером с буйвола и, поднявшись на высоту дамбы, рассыпался струями, подобно раскидистым ветвям серебристой ветлы. В нос ударила вонь пороховых газов, запахло речным илом, разорванной на куски рыбой и креветками. Уши заложило, она ничего не слышала, но, казалось, видела, как жуткие звуки расходятся волнами во все стороны.

В реку упал еще один блестящий черный предмет, и вздыбился еще один столб воды. На берег шлепнулось что-то синее, с краями как собачьи клыки. Она нагнулась и протянула руку, чтобы поднять эту штуку. Из-под кончика пальца вылетел желтый дымок, и пронзившая его резкая боль мгновенно передалась всему телу. Вокруг все снова загрохотало, словно эта обжегшая руку боль вытеснила боль из ушей. Вода в реке шипела, над ней плыли клубы пара. В воздухе прокатывались хлопки разрывов. Трое сестер ревели, разинув рот, трое других заткнули уши и зарылись в землю, выставив попы, как те глупые птицы, которые, спасаясь от преследования, прячут голову в песок и забывают обо всем остальном.

– Сестренки! – снова раздался громкий крик из кустов. – Быстро на землю! На землю и сюда ползите!

Лайди бросилась на землю и стала искать глазами кричавшего. Наконец она заметила его среди гибких веток красной ракиты. Этот был тот самый смуглолицый с белоснежными зубами. Он махал ей рукой:

– Сюда ползите, скорее!

В замутненном мозгу будто образовалась щель, через которую полился сверкающий поток света. Тут она услышала ржание и, повернув голову, увидела золотистого жеребенка с

развевающейся огненной гривой – он устремился на мост с южного конца. Это был красавец жеребенок из Фушэнтана. Уже не маленький, но и не взрослый, без уздечки, горячий, норовистый, полный юного задора. Завели его от племенного жеребца Фань Саня. Так что, если любимого племенного считать сыном Фань Саня, этот золотистый жеребенок ему внук. Лайди знала этого жеребенка, он ей нравился. Он то и дело проносился по проулку, вызывая бешеную ярость черной своры тетушки Сунь. Доскавав до середины моста, жеребенок замер: то ли его остановила стена соломы, то ли пьянящий запах пропитавшего ее вина. Наклонив голову, он сосредоточенно разглядывал солому. «Интересно, о чем он думает?» – мелькнуло в голове Лайди. Тут снова раздался резкий свист, и на мосту ослепительно сверкнула вспышка взрыва. Глазам стало больно, больнее, чем если долго смотреть на расплавленный металл, а грохот раскатился далеко вокруг. Жеребенка разорвало на куски, и в кусты неподалеку упала его нога с обгорелой шерсткой. Лайди замутило, кисловато-горькой волной к горлу подкатила тошнота. Голова заработала четко и ясно. Глядя на оторванную ногу жеребенка, она поняла, что такое смерть. От охватившего ее ужаса руки и ноги затряслись, зубы застучали. Она вскочила и поволокла сестер в кусты.

Они сжались вокруг нее, как шесть долек чеснока вокруг сердцевины, обхватив друг друга руками. Слева, совсем близко, уже знакомый голос что-то хрипло кричал, но вскоре его заглушила бурлящая в реке вода.

Она крепко прижимала к себе Цюди, чувствуя, как пылает лицо малышки. Река подуспокоилась, белая дымка понемногу рассеивалась. Свистящие черные штуковины, за которыми тянулись длинные хвосты, теперь перелетали дамбу и падали на деревню. Грохот разрывов, то усиливаясь, то затухая, сливался там в один протяжный гул. Слышались приглушенные женские крики, с треском обрушилось что-то большое. На противоположном берегу на дамбе ни души, лишь одиноко высится старое рожковое дерево. У самой кромки воды – плакучие ивы, опутившие в реку длинные нежные ветви. «Откуда прилетают эти странные страшные штуки?» – не покидала мысль. Размышления прервал хриплый мужской вопль. В просветах между ветвями показался младший хозяин Фушэнтана. Он въезжал на мост на велосипеде. «Зачем его понесло туда? Из-за жеребенка, наверное. Но в одной руке у Сыма Ку горящий факел. Стало быть, жеребенок, разметанный по мосту и окрасивший своей кровью воды реки, ни при чем». Велосипедист резко затормозил, и факел полетел на пропитанную вином солому на середине моста. Вспыхнувшее пламя весело побежало во все стороны. Сыма Ку развернул велосипед, но времени вскочить в седло уже не оставалось, и он побежал, толкая велосипед перед собой. Голубоватые язычки пламени преследовали его по пятам, а изо рта по-прежнему рвался странный вопль. Бах! – что-то будто треснуло, и соломенная шляпа с загнутыми полями птицей слетела с головы Сыма Ку в реку. Отбросив велосипед, он согнулся в три погибели, споткнулся и растянулся на мосту. Бах! Бах! Бах! – затрещало снова, будто хлопнушку запустили. Сыма Ку пополз, прижимаясь к мосту и извиваясь, как большая ящерица, и быстро исчез. Треск прекратился. Голубое пламя уже охватило весь мост, посередине оно вздымалось выше всего, но дыма не давало. Вода под мостом посинела. Дышать стало тяжело, грудь сдавило, в носу пересохло. Жар накатывался волнами, с присвистом, как порывы ветра. Ветки покрылись каплями, словно их пробил пот, листья скручивались и увядали.

– Япошки поганые, так и разэтак сестер ваших! – неслась из-за дамбы громкая ругань Сыма Ку. – Лугоуцяо¹⁸ вы перешли, а вот перейдите-ка Холунцяо – мост Огненного Дракона! – И он расхохотался.

Он еще хохотал, когда над идущей вдоль противоположного берега дамбой показалась целая цепочка желтоватых кепи. Потом выросли фигуры в такой же форме, стали видны головы

¹⁸ Инцидент на мосту Лугоуцяо 7 июля 1937 г. послужил для японцев формальным поводом для начала Второй японо-китайской войны.

лошадей, и вот уже выстроилось несколько десятков всадников на могучих скакунах. Даже за несколько сотен метров Лайди разглядела, что они как две капли воды похожи на жеребца почтенного Фань Саня. «Японские дьяволы! Это японские дьяволы! Вот они и явились...»

Кавалеристы не пошли на охваченный пламенем каменный мост, а стали боком, сталкиваясь друг с другом, спускаться по дамбе к реке. Слышалась громкая непонятная речь, ржание, конники входили в реку. Сначала скрылись лошадиные ноги, потом они зашли по брюхо. Японцы сидели в седлах, не горбясь, выпрямив спины и высоко подняв головы. В ярком солнечном свете лица сливались в одно белое пятно, было не разобрать ни носов, ни глаз. Лошади тоже высоко несли головы – казалось, что они идут рысью. Вода в реке напоминала разбавленный сироп, от нее шел сладковатый запах. Голубые брызги, которые поднимали тяжело продвигающиеся вперед конники, походили на язычки пламени, они лизали лошадям брюхо, заставляя тянуть вверх большие головы. Лошадиные хвосты были наполовину в воде, японцы покачивались в седлах, держа поводья обеими руками. Вытянутые в стороны прямые ноги в стременах напоминали иероглиф «восемь». Одна гнедая кобыла остановилась посреди реки, подняла хвост и навалила целую кучу. Седок беспокойно послал ее вперед, тронув бока каблуками. Но та дальше не шла, тряся головой и шумно грызя удила.

– Бей их, братцы! – раздался крик из кустов слева, и тут же что-то треснуло, словно порвался шелк. Потом зазвучали хлопки – раскатыстые и звонкие, отрывистые и глухие. В реку с шипением шлепнулось что-то черное, оставив после себя шлейф белого дыма. Раздался взрыв, поднявший еще один столб воды. Сидевший на гнедой японец странно подпрыгнул, потом откинулся назад, всплеснув коротенькими ручками, и из груди у него хлынула черная кровь. Она забрызгала всю голову лошади и стекала в реку. Гнедая встала на дыбы, из воды показались измазанные черным илом копыта и широкая, мощная блестящая грудь. Когда копыта снова опустились в воду, подняв волну, всадник уже навзничь лежал на крупе. Японец на вороном вошел в воду головой вниз. Еще одного всадника вышибло из седла, и он повис, покачиваясь, на шее коня, обхватив ее руками. Съехавшее с головы кепи прижало к лошадиной шее, из уха сочилась струйка крови. На реке все смешалось, потерявшие всадников лошади с ржанием поворачивали обратно. Остальные кавалеристы пригнулись в седлах, обхватив лошадиные бока ногами, навели на кусты блестящие смазкой карабины и открыли огонь. С фырканием и шумом разгребая ил и толщу воды, больше десятка лошадей вырвались на мелководье. От их круп, от красных из-за ила копыт и хвостов во все стороны разлетались мириады брызг, и с самой середины реки за ними тянулись длинные-длинные сверкающие полосы.

Вырвавшийся вперед пегий жеребец с белой звездочкой на лбу уже был недалеко от дамбы. Копыта тяжело и неуклюже, с плеском и шумом рассекали мелководье. Сидевший на нем бледный японец направил коня на кусты. Прищурившись и сжав зубы, он левой рукой хлопывал его по крупу, а в правой высоко занес отливающий серебром длинный меч. Лайди могла разглядеть даже капли пота у него на кончике носа, густые ресницы коня, слышала рвущееся из его ноздрей дыхание и ощущала кисловатый запах конского пота. На лбу пегого вдруг полыхнул красноватый дымок, и все четыре ноги застыли на скаку. Блестящую шкуру покрыли бесчисленные глубокие складки, ноги коня подкосились, и он вместе со всадником рухнул на землю у самых кустов.

Остальные японцы поскакали по мелководью на восток, к тому самому месту, где Лайди с сестрами оставили обувь. Там они повернули и начали забираться на дамбу через кусты. Потом отряд пропал из виду, и она стала смотреть туда, где упал жеребец. Его большая голова была перепачкана черной кровью и илом, а голубой глаз печально глядел в небесную лазурь. Наполовину придавленный бледный всадник лежал, уткнувшись лицом в ил. Голова вывернута набок, рука вытянута в сторону воды, словно он хотел что-то вытащить оттуда.

Когда-то гладкое, сверкавшее под солнцем мелководье теперь было изрыто копытами. Посреди реки плыл на боку вороной. Труп медленно несло и крутило течением, и наконец он

перевернулся кверху брюхом, а все четыре ноги с подковами величиной с половину глиняного кувшина задрались к небу. Зрелище это было недолгое: под журчание воды ноги снова опустились в реку до следующей возможности указать в небеса. Большую гнедую кобылу, которая так впечатлила Лайди, уже унесло вместе со всадником далеко вниз по течению. «Может, она решила заглянуть к большому племенному почтенного Фань Саня...» Почему-то Лайди решила, что эта гнедая – племенная, что она жена этому жеребцу и провела в разлуке с ним много лет.

Солома на мосту еще горела, и над лизавшими ее теперь желтыми языками пламени стелился густой белый дым. Синеватый настил моста выгибался дугой, вздыхая, покрхтывая и постанывая. Казалось, охваченный огнем мост превратился в большую змею, у которой крепко приколочены голова и хвост, и она извивалась от боли в тщетных попытках вырваться. «Бедный мост, – расстроилась Лайди. – И бедный немецкий велосипед! Единственная современная техника в Гаоми и во всем Дунбэе, а теперь обгоревшие, искореженные обломки». Нос забивали пороховая вонь, запах горелой резины, крови и ила, раскаленный воздух казался липким. Она чувствовала, что вся эта гадость переполняет грудь и в любой момент может вырваться наружу. Но хуже было другое: от искр, прилетавших с волнами раскаленного воздуха, стали с треском вспыхивать капли, от жара выступившие на ветках. Схватив в охапку Цюди, Лайди велела сестрам бежать вон из кустов. На дамбе пересчитала их. Все на месте: перемазанные сажей лица, босые ноги, помутневшие глаза, пылающие от жара уши. Таша за собой сестер, она спустилась по склону дамбы, и они бросились к заброшенному участку, где, как она слышала, раньше стоял дом какой-то мусульманки. Теперь на развалинах разрослись дикая конопля и дурнишник. Когда они бежали по стеблям конопли, ей показалось, что ноги сделаны из теста, – так больно кололись стебли. За ней, спотыкаясь и подвывая, следовали сестры. Наконец, обессиленные, они сели на землю и обняли друг друга. Младшие зарылись лицом в одежду старшей, Лайди же, не опуская головы, испуганно смотрела на полыхающий на дамбе пожар.

Из моря огня, объятые пламенем, с душераздирающими воплями стали вылетать те самые люди в зеленой форме.

– На землю! По земле катайтесь! – услышала она знакомый голос.

Он первый скатился по склону дамбы, как огненный шар. За ним последовал еще десяток. Огонь они сбили, но одежда и волосы курились синеватым дымком. От красивой изумрудно-зеленой, как молодые листочки, формы почти ничего не осталось. Она липла к телу черными драными лоскутами. Один боец не стал кататься по земле. Он кричал от боли, но продолжал бежать.

Бежал он как раз туда, где сгрудились девочки, – к большой яме с грязной водой. Из воды торчали толстые, как деревья, водяные растения с красноватыми стеблями, мясистыми листьями светло-желтого цвета и нежными розовыми соцветиями. Объятый пламенем боец рухнул туда, и брызги разлетелись во все стороны. Из травы по краям ямы повыскакивали маленькие лягушата – у них лишь недавно отвалились хвосты. С водяных растений вспорхнули белоснежные бабочки, откладывавшие яйца на нижней стороне листьев, и пропали в солнечном свете, словно поглощенные жаром. Огонь на теле бойца потух; он лежал, весь черный, голова облеплена толстым слоем ила, на щеке извивается маленький червяк. Где глаза и где нос – не разобрать, виден лишь рот, исторгающий полный боли крик:

– Мама, мамочка, как больно!.. Умираю...

Изо рта у него выскользнула маленькая золотистая рыбка. Барахтаясь, он взбаламутил дно, и из ямы поднялось жуткое зловоние.

Товарищи его лежали ничком – кто стонал, кто извергал ругательства. Их оружие валялось на земле. Лишь один, худой и смуглолицый, держал в руке пистолет.

– Братцы, – волновался он, – быстро выбираемся отсюда! Японцы скоро будут здесь!

Обожженные продолжали лежать как лежали, словно не слыша. Лишь двое поднялись, шатаясь, но, сделав пару неверных шагов, снова рухнули на землю.

– Разбегаемся, братцы! – кричал смуглолицый, пиная в зад лежащего рядом.

Тот чуть прополз вперед, кое-как встал на колени и взвыл:

– Командир... Глаза... Я ничего не вижу...

Теперь она наконец знает, что смуглолицего зовут Командир. И тут он закричал:

– Братцы, дьяволы наступают!

Действительно, с востока по гребню дамбы двумя колоннами надвигались волной прилива две дюжины японских конников. Дамба еще пылала, но отряд держал строй, лошади следовали друг за другом почти вплотную. У проулка семьи Чэнь передний всадник повернул вниз по склону, остальные последовали за ним. Пройдя рысью по краю покрытого золотистым песком участка за дамбой – его, ровный и твердый, семья Сыма использовала для просушки зерна, – они перешли в размашистый галоп и развернулись в одну линию. Высоко подняв сверкающие на солнце узкие и длинные мечи, японцы стремительно, как ветер, с громким боевым кличем понеслись на врага.

Командир, не целясь, выстрелил из пистолета по летящим в атаку конникам – из дула закурился белесый дымок. Отбросив пистолет, он, припадая на одну ногу и петляя, как заяц, побежал туда, где прятались сестры Шангуань. Его нагнал большой жеребец розово-желтой масти. Сидевший в седле японец резко нагнулся и рубанул, целясь в голову. Командир упал, голова осталась невредима, но мечом снесло кусок правого плеча. Отрубленная плоть взлетела в воздух и упала. Лайди своими глазами видела, как этот кусок размером с ладонь запрыгал по земле, точно лягушка, с которой содрали кожу. Вскрикнув от боли, командир несколько раз перевернулся на земле и недвижно застыл. Уложивший его японец повернул коня к рослому детине с большим мечом. На лице у того читался страх, он слабо взмахнул мечом, целясь вроде бы коню в голову, но тот в прыжке сбил его с ног копытами. Всадник тут же наклонился и одним ударом раскроил здоровяку череп, заляпав мозгами свои галифе. Вскоре все десять партизан, выбежавших из кустов, обрели вечный покой. Японцы отпустили поводья, и кони, еще возбужденные атакой, продолжали гарцевать по трупам.

В это время из редкой сосновой рощицы на западе от деревни показался еще один конный отряд. За ним следовало множество пехотинцев в хаки. Соединившись, конники направились по дороге, что вела к деревне. Туда же пчелиным роем устремились и пехотинцы в круглых стальных касках, с воронеными винтовками за плечами.

Пожар на дамбе догорал, в небо поднимались клубы черного дыма. Невесть откуда взявшиеся полчища мух облепили трупы, превращенные конскими копытами в сплошное месиво, лужи крови на земле и забрызганные кровью листья растений. Кружились они и вокруг командира.

Перед глазами у Лайди все плыло, веки отяжелели и слипались от этого странного, дотоле не виданного зрелища: отделенные от крупа, но дергающиеся лошадиные ноги и головы с торчащими из них ножами; обнаженные мужские тела с повисшими между ног огромными причиндалами; человеческая голова – она каталась и квохтала, как курица-несушка. А еще среди стеблей конопли прямо перед ней прыгали на тоненьких лапках крошечные рыбешки. Но больше всего ее перепугало другое: командир, которого она считала убитым, медленно поднялся на колени, нашарил свою отрубленную плоть, расправил этот кусок и приладил к зияющей ране. Но он тут же отвалился, скрывшись в траве. Командир схватил его и стал колотить о землю, пока тот безжизненно не застыл. Потом выдрал лоскут из своего рванья и плотно замотал в него непослушную плоть.

Глава 8

Шум во дворе вывел Шангуань Лу из забытья. И ее охватило отчаяние: живот такой же надутый, а половина кана в крови. Собранная свекровью пыль превратилась в липкую, пропитанную кровью грязь, а неопределенность ощущений сменилась четкостью и ясностью. Между балками беззвучно порхала летучая мышь с розоватыми крыльями, на черной стене медленно проступало синевато-красное лицо, и это было лицо мертвого мальчика. Раздиравшая нутро боль притупилась, и она с удивлением обнаружила в промежности маленькую ножку с блестящими ноготками. «Всё, – мелькнула мысль, – конец мне пришел». При мысли о смерти навалилась глубокая печаль, она уже видела, как ее кладут в гроб из хлипких досок, свекровь смотрит зло и хмуро, муж мрачен и молчалив, и лишь семеро ее девчушек плачут навзрыд...

Девчоночий плач перекрыл зычный голос свекрови. Шангуань Лу открыла глаза, и видение исчезло. Через окошко лился яркий свет, в комнату волнами проникал аромат софоры. Об оконную бумагу билась пчела.

– Ты, Фань Сань, погоди руки мыть, – говорила свекровь. – Эта наша невестка драгоценная так и не родила еще. Только одна ножка и вышла. А вдруг и ей поможешь...

– Ну что ты несешь, почтенная сестрица, надо же сказануть такое! Фань Сань по ослам да по лошадям доктор, какое мне у женщины роды принимать.

– Что у человека принимать, что у скотины – все едино.

– Ты бы меньше языком болтала, сестрица, а лучше бы воды принесла. И не боялась бы потратиться, а послала бы за тетушкой Сунь.

– А ты будто не знаешь, что я не в ладах с этой старой ведьмой! – загрохотала свекровь. – Она в прошлом году курицу у меня стащила.

– Ну как знаешь, не моя жена рождает, а твоя невестка! – вывернулся Фань Сань. – Эх, мать-перемать, моя-то жена еще в животе у моей тещи корчится... Ты, почтенная сестрица, не забудь-ка про вино и свиную голову – я как-никак две жизни твоей семье спас!

В голосе свекрови зазвучали нотки печали:

– Ты уж смилуйся, Фань Сань! Как в прежние времена говорили, за всякое благодеяние, пусть и не сразу, награда будет. К тому же на улице вон стрельба какая! А ну как выйдешь и на японцев наткнешься...

– Брось! – отмахнулся Фань Сань. – Столько лет живем в одной деревне как одна семья, вот я сегодня и делаю исключение из правил. Я тебе прямо скажу, хоть ты и твердишь, что человек или скотина – все едино, но в конце концов жизнь человека превыше всего...

Шангуань Лу услышала шаги: кто-то направлялся в дом и при этом звучно сморкался. «Неужели свекор с мужем да еще этот хитрюга Фань Сань войдут сюда? Ведь я же голая!» От гнева и стыда перед глазами поплыли какие-то белые клочья, будто рваные облака. Она хотела было сесть и поискать одежду, чтобы прикрыться, но не смогла и шевельнуться.

Где-то за деревней раздавались громовые раскаты. В минуты затишья слышался таинственный и в то же время знакомый гул, словно откуда-то лезли бесчисленные зверюшки, словно что-то грызли бесчисленные зубы. «Да что же это за звук такой?» – мучительно размышляла она. Яркой вспышкой в мозгу высветилась картина десятилетней давности, когда во время особенно страшного нашествия саранча хлынула темно-красным валом, подобно наводнению, закрыв собой солнце, и сожрала подчистую всю листву и даже кору на ивах. Именно эта жующая саранча издает такой страшный звук! «Опять налетела саранча, – в ужасе думала она, погружаясь в пучину безнадежности. – Пошли мне смертыньку, владыка небесный, исстрадалась уже... Господи Боже, Пресвятая Дева, ниспошлите милость, спасите душу мою...» – отчаянно молила она, взывая ко всем китайским и западным богам, и боль в сердце, да и во всем теле, казалось, отступила. Вспомнилось, как весной на лугу рыжеволосый и голубоглазый, по-

отечески добрый уважаемый пастор Мюррей говорил, что китайский небесный правитель и западный Бог суть одно божество, как рука и ладонь, как лотос-ляньхуа и лотос-хэхуа. «Как петушок и дрючок», – стыдливо добавила она. Дело было в начале лета, и он стоял с этой мужественно вздыбившейся штуковиной в рощице софоры. Вокруг все было усыпано прекрасными цветами, аромат пьянил, как вино. Она плыла, как облачко, как пушинка. Бесконечно взволнованная, смотрела она в серьезное и святое, близкое и ласковое, улыбающееся лицо Мюррея, и глаза ее наполнились слезами...

Она зажмурилась, и слезы по морщинкам в уголках глаз стали скатываться на уши. Дверь в комнату отворилась, послышался негромкий голос свекрови:

– Ну, как ты тут, мать Лайди? Уж потерпи, дитя мое... Наша черная ослица принесла вот муленка, да такого живенького. Ежели еще и ты родишь ребеночка, то-то вся семья Шангуань будет довольна. Дитя мое, что можно скрыть от отца с матерью, от доктора не скроешь, неважно, кто принимает роды – мужчина или женщина. Упросила вот господина Фань Саня...

Заботливые речи – такая редкость у свекрови – тронули душу. Открыв глаза, Шангуань Лу чуть кивнула туда, где расплывалось лицо урожденной Люй, большое, золотящееся. Та махнула в дверь:

– Почтенный Сань, заходи.

Лицо хитрюги Фань Саня, который старался выглядеть равнодушно-серьезным, словно застыло. И тут в нем вдруг будто не осталось ни кровинки. Пряча глаза, словно увиденное испугало его, он выдал:

– Почтенная сестрица, смилуйся и прости меня, не возьмется Фань Сань за это дело, хоть убей.

И начал пятиться к двери, опустив голову и стараясь не смотреть на Шангуань Лу. В дверях он столкнулся с пытавшимся заглянуть в комнату Шоуси. Роженица успела заметить мелькнувшую в проеме крысиную мордочку мужа и почувствовала омерзение.

– Фань Сань, сукин ты сын! – гаркнула свекровь, бросаясь за ветеринаром.

Когда Шоуси снова просунул голову в дверь, Шангуань Лу собрала все силы, оперлась на локоть и, махнув рукой, выдала ледяным тоном – неужели это она произнесла такие слова?!

– Подойди сюда, сучий потрох! – Давно ведь уже не чувствует к мужу ни вражды, ни ненависти – зачем ругать его? Называть его сучьим потрохом все равно что оскорблять свекровь – ведь свекровь – сука, старая сука...

«Сука, старая ты сука, зубы скалить мне не смей, будешь скалиться, дружок, пыли слопаешь совок...» – всплыла в голове старая история о глупом зяте и теще, она слышала ее лет двадцать назад, когда жила у тетки: тогда непрестанно шли дожди и при этом стояла страшная жара. Гаоми еще только начинался, жителей было немного, семья тетюшки перебралась туда самой первой. Муж ее здоровенный был детина, его еще называли Юй Большая Лапа: кулаки с лошадиную подкову, взрослого мула мог свалить. Любил играть на деньги, руки вечно в зелени от медных монет... На току семьи Сыма Ку, где проходил сход против бинтования ног, Шангуань Люй на нее глаз и положила...

– Звала меня? – Шангуань Шоуси стоял возле кана, отвернувшись к окну, – ему явно было неловко. – Чего звала-то?

Она не без жалости смотрела на этого мужчину, с которым прожила двадцать один год, и душа вдруг исполнилась сожаления. Волной накатил аромат софоры...

– Этот ребенок... он не твой... – тонким, как волосок, голосом проговорила она.

– Мать моих детей... – Губы Шоуси кривились, он чуть не плакал. – Ты уж не помирай... Сейчас за тетюшкой Сунь пойду...

– Нет... – Она умоляюще взглянула на мужа. – Прошу тебя, позови пастора Мюррея.

Во дворе урожденная Люй с мукой на лице, словно отрывая кусок собственной плоти, вытащила из-за пазухи пакетик из промасленной бумаги в несколько слоев, развернула и

достала серебряный даян. Она крепко сжала его в кулаке – уголки рта опустились в устрашающей гримасе, глаза налились кровью. Подернутая сединой голова поблескивала на солнце. В раскаленном от жары воздухе откуда-то плыли клубы черного дыма; с севера, от реки, доносился грохот и гул, в воздухе слышался свист пуль.

– Фань Сань, – заговорила она, чуть не плача, – видишь ведь, что человек умирает, и даже пальцем не шевельнешь, чтобы помочь! Вот уж правду говорят: «Нет ничего ядовитее осинового яда и безжалостнее сердца лекаря». Но, как гласит пословица, с деньгами можно и черта жернов крутить заставить. Двадцать лет я хранила на груди этот даян, отдаю в обмен на жизнь невестки! – И она вложила монету в руку Фань Саня. Тот в ужасе отшвырнул ее, словно кусок раскаленного железа. Лицо у него покрылось маслянистым потом, щеки задержались, исказив лицо.

– Отпусти, почтенная сестрица... – взмолился он, закинув сумку на плечо. – В ножки кланяться буду...

Он побежал было к воротам, но тут увидел, что в них вваливается Шангуань Фулу. Голый по пояс, одной туфли нет, на костлявой груди, как зияющая гниющая рана, что-то зеленое, похожее на колесную смазку.

– Где тебя носит, чтоб тебе околеть? – злобно накинулась на него Шангуань Люй.

– Что там, в деревне, брат? – разволновался Фань Сань.

Но тот, не обращая внимания ни на ругань жены, ни на вопрос Фань Саня, улыбался безумной улыбкой и издавал трясущимися губами звуки, похожие на быстрое постукивание куриных клювов о глиняную посуду. Ухватив его за подбородок, Люй покачала им туда-сюда и широко раздвинула рот. Из него потекла белая слюна с мокротой. Фулу закашлялся, сплюнул и наконец пришел в себя.

– Так что там в деревне, папаша?

Бросив на жену горестный взгляд, он скривился и захныкал:

– Конный отряд японцев, они на дамбе...

Раздался устрашающий топот лошадиных копыт, и все, кто был во дворе, застыли. Над головами с криком пронеслась вспугнутая стая белохвостых сорок. Беззвучно рассыпался витраж на колокольне церкви, и осколки засверкали на солнце. Они разлетелись в разные стороны, и лишь потом донесся грохот взрыва, волны от него раскатились глухо рокочущими железными колесами. Мощной взрывной волной Сань Фаня и Фулу отбросило на землю, как стебельки риса. Урожденную Люй отшвырнуло спиной к стене. С крыши скатилась черная керамическая труба с орнаментом: она с грохотом упала на дорожку из синих плиток и разлетелась на куски.

Из дома, причитая, выбежал Шоуси:

– Матушка! Она умирает, умирает! Сходила бы ты за тетушкой Сунь...

Люй сурово глянула на сына:

– Кому суждено помереть, тот помрет, как ни крути; а коли не судьба, так и смерть обойдет стороной.

Все трое мужчин во дворе будто не до конца поняли сказанное и смотрели на нее со слезами на глазах.

– Сань Фань, осталось ли еще у тебя этого вашего семейного снадобья? Коли осталось, влей моей невестке флакончик, а не осталось – то и хрен с ним. – Она не стала ждать ответа и, ни на кого не глядя, высоко подняв голову и выпятив грудь, нетвердой походкой направилась к воротам.

Глава 9

Утром пятого дня пятого лунного месяца тысяча девятьсот тридцать девятого года в Далане, самой большой деревне северо-восточного уезда Гаоми, Шангуань Люй, не обращая внимания на свистевшие в воздухе пули и доносившийся издалека оглушающий грохот разрывов артиллерийских снарядов, входила вместе со своим заклятым врагом тетушкой Сунь в ворота своего дома, чтобы принять тяжелые роды у своей невестки Шангуань Лу. Именно в этот момент японские конники в поле у моста топтали копытами трупы партизан.

Трое мужчин во дворе – ее муж Шангуань Фулу, сын Шангуань Шоуси, а также оставшийся у них ветеринар Фань Сань (он гордо держал стеклянный флакончик с зеленоватой маслянистой жидкостью) – стояли так же, как и до ее ухода. К ним присоединился рыжий пастор Мюррей. В просторном китайском халате из черного сукна, с тяжелым бронзовым распятием на груди, он стоял у окна Шангуань Лу и, задрав голову к солнцу, на чистом дунбэйском диалекте, на каком говорят в Гаоми, громко читал молитву:

– Всевышний Господь наш Иисус Христос! Господи Боже, благослови и сохрани верного раба Твоего и друзей моих в этот час страданий и бедствий, коснись святой рукой Твоей глав наших, даруй нам силу и мужество, да родят младенцев жены их, да дадут козы много молока, да принесут куры много яиц, да ослепит пелена мрака глаза лихих людей, да не вылетят пули их, да занесут их не туда кони их, да сгинут они в болотах и топях... Господи, ниспошли всевозможные наказания на главу мою, дозвошь принять беды и страдания всякой живой души...

Остальные стояли, молча и торжественно внимая молитве. По выражению лиц было видно, что они тронуты до глубины души.

Подошедшая тетушка Сунь с холодной усмешкой отпихнула Мюррея в сторону. Пастор пошатнулся, удивленно уставившись на нее, завершил свою пространную Молитву торопливым «Аминь!» и осенил себя крестным знамением.

Отливающие серебром волосы тетушки Сунь были гладко зачесаны, собраны на затылке в плотный, ровный пучок и закреплены блестящей серебряной шпилькой, а по бокам заколоты палочками из полыни. Она была в белой накрахмаленной кофте с косыми полами, под одной из боковых застежек, почти под мышкой, виднелся белый носовой платок. Черные штаны, подвязанные ремешками чуть выше лодыжек, туфли с белой подошвой, бирюзовым верхом и вышитыми на нем черными цветами.

От нее веяло свежестью и ароматом гледичии¹⁹. Выступающие скулы, нос с горбинкой, тонкая линия губ, глубоко посаженные глаза, излучающие мягкий свет. Вся она была словно не от мира сего и составляла резкий контраст с мощной и неуклюжей Шангуань Люй.

Взяв из рук Фань Саня флакончик с зеленой жидкостью, урожденная Люй подошла к тетушке Сунь и негромко спросила:

– Тут вот, почтенная тетушка, у Фань Саня снадобье для вспоможения при родах, не хочешь ли его использовать?

– Послушай, Шангуань! – От вежливого взгляда явно недовольной тетушки Сунь повеяло холодком, потом она обвела глазами стоявших во дворе мужчин. – Ты меня пригласила роды принимать или Фань Саня?

– Не сердись, почтенная! Как говорится, тот, кто при смерти, ищет врача, где только может; у кого молоко в груди, та и мать, – смиренно проговорила Люй, хотя было видно, что дается ей это с трудом. – Конечно тебя. Кабы был другой выход, разве я осмелилась бы потревожить тебя!

¹⁹ Гледичия – декоративное растение семейства бобовых, медонос.

– Так ты не станешь больше говорить, что я у тебя курицу украла? – как бы мимоходом бросила тетушка Сунь и продолжала: – Ежели хочешь, чтобы я роды принимала, пусть никто больше не суется!

– Как скажешь.

Тетушка Сунь сняла обернутую вокруг пояса полоску красной материи и привязала к ставню. Затем легкой походкой направилась в комнату, но, дойдя до двери, обернулась к урожденной Люй:

– Следуй за мной, Шангуань.

Фань Сань подбежал к окну, схватил оставленный Шангуань Люй зеленый флакончик, запихнул в сумку и, даже не попрощавшись с отцом и сыном, вылетел за ворота.

– Аминь! – произнес пастор Мюррей, перекрестился и дружески кивнул Шангуаням.

В комнате громко вскрикнула тетушка Сунь и послышались хриплые вопли роженицы. Шангуань Шоуси закрыл уши руками и осел на землю. Его отец заходил по двору кругами, держа руки за спиной. Ступал он торопливо, низко опустив голову, будто искал потерянное.

Пастор Мюррей устремил взгляд в полную облаков небесную синеву и снова принялся негромко читать молитву.

Из пристройки вышел, пошатываясь, новорожденный муленок с еще не просохшей, лоснящейся шкуркой. Под непрерывные вопли Шангуань Лу вслед за ним показалась и его ослабевшая мать. Прижав уши, спрятав хвост между ног и опасливо косясь в сторону людей, она еле доковыляла до корыта с водой под гранатовым деревом. Но никто не обратил на нее внимания. Шангуань Шоуси рыдал, закрыв уши руками. Шангуань Фулу вышагивал круг за кругом. Пастор Мюррей молился с закрытыми глазами. Черная ослица опустила морду в воду и начала с хлюпаньем пить. Напившись, медленно подковыляла туда, где стебли гаоляна²⁰ подпирали заготовленный впрок арахис, и принялась ошипывать их.

Запустив руку в родовые пути, тетушка Сунь высвободила другую ножку ребенка. Роженица вскрикнула и потеряла сознание. Тетушка вдунула ей в ноздри щепотку какого-то желтого порошка, потом взялась обеими руками за маленькие ножки и стала спокойно ждать. Шангуань Лу застонала и очнулась. Она несколько раз чихнула и резко дернулась всем телом, вся выгнулась, а потом тяжело рухнула обратно. Тут тетушка Сунь и вытащила ребенка. Плоская и вытянутая головка отделилась от тела матери со звонким хлопком, с каким вылетает из орудия снаряд. Белую кофту тетушки Сунь забрызгало кровью.

На руках у нее лежал синюшный младенец – девочка.

Ударив себя в грудь, Шангуань Люй затряслась в беззвучных горьких рыданиях.

– Не реви! – рыкнула на нее тетушка Сунь. – Там, в животе, еще один!

Живот роженицы сотрясся в страшных конвульсиях, хлынула кровь, и вместе с кровью, как рыбка, выскользнул ребенок с мягкими рыжими волосками на голове.

Глянув на него и заметив между ног крохотную штучку, похожую на гусеницу шелкопряда, урожденная Люй шлепнулась перед каном на колени.

– Жалость какая, и этот неживой, – с расстановкой произнесла тетушка Сунь.

У Люй все поплыло перед глазами, и она стукнулась лбом о край кана. Опершись на него, она с трудом поднялась и, глянув на посеревшую, как пыль, невестку, с горестным стоном вышла из дома.

Во дворе висела пелена смерти. Ее сын застыл на коленях, уткнувшись окровавленным обрубком шеи в землю, вокруг маленькими извилистыми ручейками растекалась кровь, а перед телом стояла его голова с застывшим выражением страха на лице. Муж лежал, уткнувшись зубами в плитки дорожки. Одна рука под животом, другая вытянута вперед. Из зияющей на

²⁰ Гаолян – китайское название сорго, традиционной зерновой культуры, которую перерабатывают на крупу, муку и крахмал; из соломы изготавливают плетеные изделия, бумагу, веники.

затылке раны – длинной и широкой – на дорожку выплеснулось что-то бело-красное. Пастор Мюррей, стоя на коленях и обхватив грудь руками, безостановочно бубнил что-то на непонятном языке. Два больших жеребца под седлами щипали стебли гаоляна, что подпирали запасы арахиса, а ослиха с муленком жались в углу двора. Муленок спрятал голову между ног матери, и лишь его голенький хвостик ходил змейкой туда-сюда. Один из японцев в форме цвета хаки вытирал платком меч, другой рубанул мечом по стеблям гаоляна, и вся тысяча цзиней²¹ арахиса, заготовленного семьей Шангуань еще в прошлом году, чтобы выгодно продать этим летом, с шелестом рассыпалась по земле. Жеребцы склонили головы и стали с хрустом уминать орешки, весело помахивая роскошными хвостами.

И тут земля ушла из-под ног Шангуань Люй. Она хотела рвануться вперед – спасти сына и мужа, но рухнула навзничь всем своим грузным телом, как обрушившаяся стена.

Обойдя тело Люй, тетушка Сунь уверенным шагом направилась к воротам. Японец с широко посаженными глазами и клочковатыми бровями – тот, что протирал меч, – отбросил платок и встал у нее на пути. Подняв сверкающий меч, он нацелил его ей в грудь и выкрикнул что-то непонятное, но явно оскорбительное. Тетушка спокойно смотрела на него, чуть ли не с издевательской улыбкой на лице. Она отступила на шаг, но японец тут же шагнул вперед. Она отступила еще на пару шагов, но солдат не отставал. Сверкающее острие меча так же было направлено ей в грудь. Уступи такому цунь²², так отхватит и целый чи²³, и тетушка Сунь, подняв руку, отвела меч в сторону, а потом в воздух взлетела ее маленькая ножка и до невозможности изящным движением ударила японца по руке. Меч упал на землю. Тетушка подалась всем телом вперед и закатила солдату оплеуху. Тот взвыл и схватился за лицо. К ней бросился другой японец. Он взмахнул мечом, целясь тетушке в голову, но она легко увернулась, железной хваткой вцепилась ему в запястье и трянула так, что и он выронил меч. Получил он и затрещину. Удар казался несильным, но физиономия у него тут же распухла.

Даже не повернув в его сторону головы, тетушка Сунь зашагала прочь. Один из японцев схватился за карабин – грянул выстрел. Она словно вытянулась вверх и упала в воротах семьи Шангуань.

Около полудня во двор ввалилась целая толпа японских солдат. Кавалеристы нашли в сарае корзину, собрали в нее арахис и вынесли в проулок кормить своих измотанных лошадей. Двое солдат увели пастора Мюррея. В комнату Шангуань Лу вслед за командиром японцев вошел военный врач в очках с золотой оправой на белой переносице. Нахмурившись, он открыл саквояж, надел резиновые перчатки и ножом, отливающим холодным блеском, перерезал младенцам пуповины. Потом поднял мальчика за ноги вниз головой и шлепал его по спине до тех пор, пока тот не разразился хриплым ревом, как больной кот. Положив его, взялся за девочку и хлопал ее таким же образом, пока она тоже не ожила. Затем смазал обоим пупки йодом и перебинтовал белоснежной марлей. В завершение всего он сделал Шангуань Лу пару кровоостанавливающих уколов. Все время, пока он помогал матери и новорожденным, его снимал и так и сяк японский военный корреспондент. Через месяц эти снимки были опубликованы в японских газетах как подтверждение дружественных отношений между Японией и Китаем.

²¹ Цзинь – мера веса, равная 0,5 кг.

²² Цунь – мера длины, равная 3,3 см.

²³ Чи – мера длины, ок. 30 см.

Книга вторая

Глава 10

После кровоостанавливающих инъекций матушка наконец пришла в себя. Прежде всего ей бросился в глаза крохотный петушок, торчавший у меня между ног гусеницей шелкопряда, и ее потухший взгляд засиял. Она схватила меня и покрыла поцелуями, будто исклевала всего. Я хрипло разревелся, разевая рот и ища сосок. Получив грудь, я принялся усиленно сосать, но молока не было, чувствовался лишь привкус крови. Тут я заревел в голос. Рядом заплакала восьмая сестренка. Взяв нас обоих на руки, матушка с трудом спустилась с кана. Пошатываясь, она доковыляла до чана с водой, наклонилась и стала пить, как ослица. Задержала оцепенелый взгляд на лежащих во дворе трупах, на ослице с муленком, которые, дрожа, стояли возле арахиса. Во двор вошли сестры. На них было жалко смотреть. Они подбежали к матери и, немного похныкав, без сил повалились на землю.

Японцы убили моего отца и деда, но спасли жизнь нам троим.

Впервые после этой страшной беды из трубы нашего дома закурился дымок. Матушка залезла в бабкин сундук, достала припрятанные там яйца, финики, кусковой сахар и пролежавший под спудом неизвестно сколько лет горный женишень. Вода в котле закипела, закувыркались опущенные туда яйца. Матушка позвала сестер, усадила вокруг большой миски и выложила в нее всё из котла:

– Ешьте, дети.

Потом покормила меня. Молоко у нее было просто изумительное – с привкусом фиников, сахара и яиц. Я открыл глаза. Сестры восторженно разглядывали меня. Я ответил им туманным взглядом. Высосав грудь подчистую, я снова прикрыл глаза. Восьмая сестренка еле слышно плакала. Взяв ее на руки, матушка вздохнула:

– А вот тебя и не надо бы.

Утром следующего дня раздались удары гонга.

– Земляки, – послышался в проулке осиплый голос Сыма Тина, хозяина Фушэнтана, – выносите из дворов тела погибших, выносите...

Матушка стояла во дворе со мной и восьмой сестренкой на руках, и из ее груди вырывались громкие всхлипывания. Слез не было. Кто-то из окруживших матушку сестер вроде плакал, но тоже без слез.

Во двор вошел Сыма Тин с гонгом в руках. Глядя на этого похожего на высушенную люфу²⁴ человека, трудно было сказать, сколько ему лет: изрезанное морщинами лицо, нос клубничной, черные глаза, стреляющие по сторонам, как у ребенка. Согбенная спина глубокого старика, вступившего в тот возраст, когда жизнь едва теплится, как свеча на ветру, а руки холеные, белые и пухлые, мясистые подушечки на ладонях. Словно пытаясь привлечь внимание матушки, он остановился всего в шаге от нее и изо всей силы ударил в гонг, который надтреснуто загудел. Матушка замерла на полувсхлипе, распрямила шею и с минуту даже перестала дышать.

– Какая жестокость! – делано вздохнул Сыма Тин, оглядывая лежащие во дворе тела. Уголки рта, и губы, и щеки, и уши – все выражало бесконечное горе и переполнявшее его

²⁴ Люфа – травянистое растение, плоды которого используются для изготовления мочалок.

негодование, однако нос и глаза все равно выдавали злорадство и даже тайное ликование. Он подошел к недвижному телу Шангуань Фулу, остановился на мгновение, потом направился к обезглавленному трупу Шангуань Шоуси. Склонился над отсеченной головой и уставился в потухшие глаза, будто пытаясь установить с ним эмоциональную связь. Из раскрытого рта у него непроизвольно капнула слюна. И если выражение на лице Шоуси было самым что ни на есть безмятежным, то тупая физиономия Сыма Тина выражала лишь жестокость.

– Не послушались меня. Почему не слушали, что я говорил, а? – бормотал он себе под нос, словно осуждая мертвых. – Жена Шоуси, – начал он, подойдя к матушке, – я распорядюсь, чтобы их унесли: погода-то гляди какая. – Он задрал голову вверх. Матушка тоже взглянула на небо: свинцово-серое, тяжелое, оно окрасилось на востоке кроваво-красной зарей, которую уже начинали закрывать черные тучи. – Львы у наших ворот все мокрые, это дождь, скоро ливанет. Если не убрать, замочит дождем, потом полежат на солнце, сама понимаешь... – гнусавил он.

Со мной и восьмой сестренкой на руках матушка опустилась перед ним на колени:

– Вдовой я осталась, почтенный, с детьми на руках, на тебя вся надежда. Дети, поклонитесь дядюшке. – Сестры встали перед Сыма Тином на колени, а он пару раз изо всей силы шаррахнул по гонгу.

– Всё из-за этой сволочи Ша Юэляна, это он засаду устроил. Это ж все равно что у тигра в заднице ковыряться! Вот японцы в отместку и пошли убивать простой народ. Вставайте, девочки, все вставайте, не надо плакать, не только в вашу семью пришла беда. Ну почему уездный начальник Чжан Вэйхань назначил деревенским головой меня? Сам сбежал, а деревенский голова остался. Всех его предков так и разэтак! – И тут же крикнул за ворота: – Эй, Гоу Сань, Яо Сы, что вы там копаетесь! Или большой паланкин за вами прислать и восемь носильщиков?

За согнувшимися в поклоне Гоу Санем и Яо Сы во двор вошли еще несколько деревенских бездельников. Гоу Сань и Яо Сы, подручные Сыма Тина, были у него почетным караулом и свитой, силой и властью, с их помощью он и исполнял свои обязанности. Яо Сы держал под мышкой бухгалтерскую книгу в обложке из рисовой бумаги с потрепанными краями, а за ухом у него торчал красивый карандаш в цветочек. Гоу Сань, поднатужившись, перевернул Фулу, и вздущееся, почерневшее лицо покойника уставилось в затянутые багровыми тучами небеса.

– Шангуань Фулу, – протяжно пропел Гоу Сань. – Причина смерти – разбита голова. Глава семьи.

Яо Сы посплюнул палец и стал листать свой гроссбух, пока не нашел страницу с именем семьи Шангуань. Потом вытащил из-за уха карандаш, опустился на одно колено, пристроил книгу на другое, посплюнявил кончик карандаша и вычеркнул имя Шангуань Фулу.

– Шангуань Шоуси... – проговорил Гоу Сань уже не так звучно. – Причина смерти – отделение головы от тела.

Матушка зарыдала.

– Отмечай, отмечай – понял, что тебе говорят, или нет? – командовал Сыма Тин. Но Яо Сы лишь нарисовал кружок²⁵ вокруг имени Шангуань Шоуси, а причину смерти указывать не стал. Тут Сыма Тин огрел его по голове колотушкой от гонга: – Мать твою за ногу, как ты смеешь и с мертвыми халтурить! Пользуешься тем, что я неграмотный?

– Не деритесь, господин. У меня в душе все останется, тысячу лет не забуду, – плаксиво оправдывался Яо Сы.

– А ты столько жить собрался? Видали такого, тысячу лет прожить – черепаха, что ли? – выпучил на него глаза Сыма Тин.

– Да это я к слову, почтенный. А вы сразу спорить – с вами разве кто спорит! – И получил колотушкой еще раз.

²⁵ Кружком китайцы зачеркивают иероглифы.

– Шангуань... – запнулся Гоу Сань, стоявший над Шангуань Люй, и повернулся к матушке: – Свекрови твоей родительская фамилия как? – Матушка лишь покачала головой.

– Люй ей фамилия, урожденная Люй! – постучал карандашом по своей книге Яо Сы.

– Шангуань Люй! – выкрикнул Гоу Сань и склонился, рассматривая тело. – Странно, ни одной раны, – пробормотал он, поворачивая голову за седоватые волосы. И тут изо рта у нее вырвался слабый стон. Гоу Сань резко выпрямился и застыл с вытаращенными глазами, потом попятился, тупо приговаривая: – Только что... только что мертвая была...

Люй приоткрыла глаза, мутный взгляд блуждал, как у новорожденного.

– Мама! – вскричала матушка. Сунув меня и восьмую сестренку старшим сестрам, она торопливо сделала пару шагов к бабке, но вдруг резко остановилась, почувствовав, куда направлен бабкин взгляд. Та смотрела на меня, лежавшего на руках у одной из сестер.

– Братья и сестры, – проговорил Сыма Тин, – почтенная тетушка ненадолго пришла в себя перед кончиной. Видать, решила взглянуть на ребенка, посмотреть, мальчик ли это. – Под бабкиным взглядом мне стало очень неудобно, и я заревел. – Дайте ей взглянуть на внука, – продолжал Сыма Тин, – чтобы она покинула нас с миром.

Матушка взяла меня у сестры, опустила на колени и подползла к бабке, с плачем поднеся меня к ее глазам:

– Мама, ну не было у меня выхода, вот я и пошла на это...

Взгляд Шангуань Люй остановился на моей писюльке, и глаза у нее вдруг вспыхнули. Но тут в низу живота у нее пару раз треснуло, и разнеслась жуткая вонь.

– Всё, дух вон, – заключил Сыма Тин. – Теперь уж точно конец.

Матушка поднялась, на глазах мужчин расстегнула пуговицы на кофте и сунула мне в рот сосок. Ощувив на лице тяжелую грудь, я тут же успокоился. А деревенский голова объявил:

– Шангуань Люй, жена Шангуань Фулу, мать Шангуань Шоуси, скончалась от разрыва внутренностей из-за потери мужа и сына. Вот так. Давайте, вытаскивайте!

Подшли несколько человек с железными крючьями. Но как только они начали прилаживать их к телу Шангуань Люй, та медленно, как старая черепаха, стала подниматься. Лучи солнца освещали большое раздувшееся лицо, желтое, как лимон, как новогодние пирожки-няньгао. С холодной усмешкой она встала, опершись спиной о стену, этакий непоколебимый утес.

– Долго жить будешь, тетушка, – поразился Сыма Тин.

У всех, кто явился вместе с ним, носы и рты были замотаны белыми полотенцами, смоченными вином, чтобы отбить трупный дух. Они внесли во двор створку дверей, на которой еще можно было разобрать иероглифы благопожелательной надписи дуйлянь²⁶. Четверо бездельников – теперь они выполняли роль деревенской похоронной команды – торопливо зацепили крючьями тело Шангуань Фулу и бросили на створку. Двое взялись за нее спереди и сзади и понесли за ворота. Одна рука покойника висела и раскачивалась, как маятник.

– Оттащите в сторону старуху у входа! – крикнул один из тех, кто нес створку. Двое побежали туда.

– Это тетушка Сунь, жена печника! Как ее здесь-то угораздило? – громко удивился кто-то. – Отнесите ее в повозку! – Проулок загудел: там живо обсуждали эту новость.

Потом створку положили рядом с телом Шангуань Шоуси. Он лежал в той же позе, в какой его застала смерть. Отверстая рана взывала к небесам, на ней выступили прозрачные пузыри, будто внутри прятался краб. Похоронная команда замешкалась, не зная, как с ним быть.

– Ладно, давайте так, – произнес один и занес железный крюк.

²⁶ *Дуйлянь* – традиционные парные благопожелательные надписи с равным числом иероглифов, часто строчки из стихов; их вешают перед входом в дом.

– Не надо крючьями! – вскричала матушка. Она сунула меня старшей сестре и с плачем бросилась к безголовому телу. Она прилаживалась к голове и так и сяк, но, когда казалось, что пальцы вот-вот коснутся ее, рука тут же отдергивалась.

– Будет тебе, сестрица, назад-то не приделаешь. Ты только глянь, что в повозке-то: есть и собаками обглоданные, одна нога осталась, так что вы здесь еще хорошо отделались! – Из-за полотенца голос звучал глухо. – Давайте в сторону. Отвернитесь и не смотрите. – Он грубо обхватил матушку и отпихнул ее к сестрам. И предупредил еще раз: – Всем зажмуриться!

Когда матушка с сестрами открыли глаза, ни одного трупа во дворе уже не осталось.

Вслед за нагруженной доверху повозкой мы побрели по пыльной улице. Лошади походили на тех, что ранним утром видела старшая сестра: желтоватая, темно-красная и бледно-зеленая. Только теперь они шли, печально понурив головы, и шкура у них не блестела. Желтоватая коренная хромала на одну ногу и при каждом шаге выбрасывала голову набок. Возница одной рукой держался за оглоблю, в другой волочился кнут. Волосы у него с боков были черные, а посередине белые, и по форме это пятно напоминало синицу. По обеим сторонам дороги за повозкой следовали собаки с налившимися кровью глазами. Позади в облаке пыли брели родственники погибших. За ними вышагивал деревенский голова Сыма Тин со своей свитой. Кто нес лопаты, кто крючья, у одного на плече был длинный бамбуковый шест с красной тряпицей наверху. Через каждые десять шагов Сыма Тин ударял в гонг, и родственники начинали причитать. Плакали, похоже, без особой охоты, и, как только печальный звук гонга затихал, плач тут же прекращался. Будто не по близким людям горевали, а выполняли поручение деревенского головы.

Так, шагая за повозкой и время от времени поплакивая, мы миновали церковь с рухнувшей колокольней, прошли мимо мукомольного завода, который пять лет назад пытались запустить Сыма Тин и его младший брат Сыма Ку. Там до сих пор величественно возвышался, поскрипывая на ветру, десяток обветшалых ветряных мельниц. Справа от дороги осталось место, где двадцать лет назад японский коммерсант Мэсиро Мифунэ²⁷ основал компанию, чтобы выращивать отборный американский хлопок, и гумно семьи Сыма, где выступал Нью Тэнсяо, уездный начальник, призывавший женщин отказаться от бинтования ног. Наконец, свернув налево с дороги, проходившей по берегу Мошуйхэ, повозка выехала на открытое ровное место, которое простиралось до самых болот. Налетавший с юга влажный ветерок приносил запах гнили. В придорожных канавах и на мелководье раздавались глухие крики жаб, а от полчищ жирных головастика даже цвет воды в реке изменился.

Теперь повозка двигалась быстрее. Синица нахлестывал коренного, которому доставалось и по хромой ноге, повозка раскачивалась, от трупов исходило зловоние, а из щелей что-то капало. Плача уже не было слышно, родственники прикрывали носы и рты рукавами. Сыма Тин со своей командой протолкались вперед и, ссутулившись, пошли рысью перед повозкой, оставив за спиной и нас, и разящий запах мертвечины. Собаки с бешеным лаем носились вокруг. Они мелькали среди колосьев, то исчезая, то вновь появляясь, подобно котикам в море. А уж какой будет пир у ворон и ястребов-стервятников! Казалось, сюда собрались все вороны в округе. Они черной тучей висели в воздухе, метались вниз-вверх с пронзительным радостным карканьем и то и дело ныряли к повозке. Опытные птицы выклевывали мертвецам глаза, молодые и неопытные стучали твердыми клювами по черепам. Синица отгонял их кнутом, и каждый удар приходился не по пустому месту. Несколько ворон рухнуло на землю, и колеса превратили их в кровавое месиво.

Высоко в небе зависла восьмерка ястребов. Эти тоже не прочь полакомиться мертвечиной, но от ворон с лицемерной заносчивостью держатся в стороне.

²⁷ Возможно, автор использует реальные факты из жизни знаменитого японского актера Тосиро Мифунэ, который родился в Циндао, провинция Шаньдун, а его отец, Токудзо Мифунэ, был коммерсантом.

Из-за туч выглянуло солнце, и поля уже почти созревшей пшеницы засверкали ослепительным блеском. Ветер стих, и все вокруг замерло; волны, катившиеся по пшеничным полям, будто задремали, и взору предстало простирающееся чуть ли не до края небес золотисто-желтое плато. Несметное множество твердых остей пшеницы сверкало золотыми иглами.

Повозка тем временем свернула на узкую тропу посреди пшеничного поля, и вознице ничего не оставалось, как идти рядом. Обе пристяжные жались к коренной, но попеременно то одна, то другая сходила с дороги на поле. Они напоминали двух разыгравшихся мальчишек: то один вытесняет другого, то второй. Повозка катилась медленнее, а вороны становились всё нахальнее. Несколько десятков расселись-таки на трупах и, сложив крылья, принялись терзать мертвую плоть. Синица уже не обращал на них внимания.

Пшеница в тот год уродилась больно хороша: стебли толстые, колосья пышные, полные зерна. Ости царапали брюхо лошадей и со скрежетом, от которого просто передергивало, чертили по резиновым колесам и бортам повозки. Мелькавшие в поле собаки бежали с закрытыми глазами – чтобы не выколоть. Направление они держали лишь по запаху.

Узкая тропинка заставила подрастаться и нас. Никто давно уже не плакал в голос, не слышно было даже тихих всхлипываний. Если случалось, что ребенок оступался по неосторожности, кто-нибудь из шедших рядом – пусть и не родственник – тут же протягивал руку. В этой почти торжественной сплоченной атмосфере дети, даже разбив губу, не роняли ни слезинки.

В поле по-прежнему царил покой, но какой-то напряженный и тягостный. Иногда низко над землей вспархивала вспугнутая повозкой или собаками куропатка и тут же исчезала в золотистом море пшеницы. С ости на ость вспышками молнии курсировали огненно-красные ядовитые пшеничные змейки, какие водятся только в дунбэйском Гаоми. Замечая эти вспышки, лошади вздрагивали всем телом, а собаки зарывались мордой между бороздами, не смея головы поднять. Пол солнца заволокло черной тучей, а вторая половина стала палить еще жарче. На фоне раскинувшейся над полем черноты освещаемая солнцем пшеница полыхала желтым. Подул ветер, и миллионы колосьев затрепетали, как струны, тихим шепотом передавая на своем тайном языке страшную весть.

Сначала по верхушкам колосьев нежно прошелся ветерок с северо-востока, образовав в спокойной глади пшеницы журчащие ручейки. Ветер стал набирать силу, и это море уже перестало быть единым целым. Красная тряпица на шесте у идущего перед повозкой затрепетала. На северо-восточном краю неба на фоне словно залитых кровью туч изогнулась золотая змея, и глухо раскатился гром. На миг все снова стихло, ястребы кругами спланировали вниз и скрылись в бороздах. Вороны же, словно подброшенные взрывом, с карканьем взлетели повыше. Налетевший бешеный порыв ветра вздыбил море пшеницы валами: одни покатались с севера на запад, другие – с востока на юг. Высокие, низкие, они теснились и сталкивались, образуя желтые водовороты. Море пшеницы словно закипело. Стаи ворон рассеялись. С шумом опустилась тонкая белесая завеса дождя, и тут же посыпались большие, с абрикосовую косточку, градины. В один миг стало жутко холодно. Град бил по колосьям, по ногам и ушам лошадей, по животам мертвецов и по затылкам живых. На землю камнем упало несколько ворон – градом им пробило голову.

Матушка крепко прижала меня к себе и, чтобы уберечь мою неокрепшую головку, спрятала ее в теплую ложбинку меж грудей. Лишнюю с самого рождения восьмью сестренку мать оставила на кане в компании с потерявшей рассудок Шангуань Люй, которая пробиравась в западную пристройку и набивала себе рот ослиными катышками.

Защищаясь от дождя и града, сестры скинули рубашонки и держали их над головой. Все, кроме Лайди, у которой уже четко и красиво вырисовывались твердые, как неспелые яблочки, груди. Она закрыла голову руками, но тут же вся вымокла, а от налетевшего ветра мокрая рубашка прилипла к телу.

Преодолев этот многотрудный путь, мы наконец добрались до кладбища. Это был пустырь площадью десять му²⁸ в пределах пшеничного поля, где перед несколькими десятками заросших травой могил торчали сгнившие деревянные таблички.

Ливень кончился, по сияющему ослепительной голубизной небу неслись рваные облака. Солнце палило нещадно. Градины, мгновенно растаяв, превращались в пар, устремлявшийся вверх. Побитая градом пшеница распрямлялась, но кое-где ей было уже не подняться. Прохладный ветерок быстро сменился невыносимым зноем, и казалось, пшеница на глазах наливается и желтеет.

Столпившись на краю кладбища, мы смотрели, как Сыма Тин меряет его шагами. Из-под ног у него выскочил кузнечик, и под нежно-зелеными надкрыльями мелькнули розоватые крылышки.

– Вот здесь! – крикнул Сыма Тин, остановившись рядом с усыпанной желтыми бутончиками дикой хризантемой, и топнул ногой. – Здесь и копайте.

К нему вразвалочку подошли семеро загорелых дочерна молодых с лопатами. Они искоса переглядывались, словно оценивая друг друга и желая запомнить. Потом все взгляды устремились на Сыма Тина.

– Ну что уставились? Копайте! – рявкнул тот, отшвырнув гонг с колотушкой. Гонг упал в колышущиеся серебристые метелки императы²⁹, спугнув ящерицу, колотушка – на заросли «собачьего хвоста». Сыма Тин вырвал у одного из молодых лопату, вонзил в землю и, встав на нее, покачался, чтобы она вошла глубже; с усилием выворотил пласт с корнями травы, развернулся всем телом на девяносто градусов влево, держась за ручку лопаты, потом резко крутанулся на сто восемьдесят градусов вправо и, крикнув, швырнул этот пласт, который перекувырнулся в воздухе, как мертвый петух, на пышный ковер из одуванчиков. – Быстро давайте! Не чувствуете, что ли, вонища какая? – скомандовал он, запыхавшись, и сунул лопату тому, у кого взял.

Работа закипела, земля вылетала на поверхность лопата за лопатой, яма постепенно приобретала очертания и становилась все глубже.

Послеполуденный воздух дышал зноем, между небом и землей стояло белое марево, никто даже не осмеливался поднять глаза к солнцу. От повозки воняло все сильнее, и, хотя все переместились на наветренную сторону, от тошнотворного запаха спасения не было. Снова появились вороны: словно только что искупались, перья блестят как новенькие, отливая синевой. Сыма Тин поднял гонг с колотушкой и, не обращая внимания на зловоние, бегом направился к повозке.

– Сволочи пернатые, ну-ка, суньтесь! Мокрого места от вас не останется! – Он заколотил в гонг и запрыгал, изрыгая проклятия.

Вороны кружили метрах в десяти от повозки, галдя и роняя вниз помет и перья. Синица попытался отогнать их шестом с красной тряпкой. Лошади стояли, плотно сжав ноздри и стараясь опустить тяжелые головы пониже, отчего те казались еще тяжелее. Вороны с отчаянным карканьем ныряли вниз. Несколько десятков птиц летали над самой головой Сыма Тина и вороны: круглые глазки, сильные жесткие крылья, уродливые грязные когти – такое не забудешь! Люди отмахивались от птиц, но то и дело получали по голове твердыми клювами. Гонг с колотушкой и бамбуковый шест тоже достигали цели, их жертвы падали на зеленый травяной ковер с вкрапленными в него белыми цветочками и, подволакивая крыло, ковыляли в пшеницу прятаться. Но не тут-то было: из своего укрытия стрелой вылетали затаившиеся там собаки и раздирали их на клочки. В мгновение ока на траве оставались лишь разлетевшиеся перья. Высунув

²⁸ Му – мера площади, равная 1/15 га.

²⁹ Императа – распространенный в тропических странах сорняк с острыми листьями и густыми серебристыми метелками соцветий.

красные языки и тяжело дыша, собаки оставались ждать на границе поля и кладбища. Вороны разделились: одни продолжали атаковать Сыма Тина и возницу, а большинство с громким карканьем и гнусным восторгом набросилось на повозку: шеи что пружины, клювы что долото – раздирают мертвую плоть, ах да запах, просто дьявольское пиршество! Сыма Тин и Синица в изнеможении рухнули на землю. Струйки пота исчертили толстый слой пыли на лицах, и их было не узнать.

Копавшие яму уже скрылись в ней, виднелись лишь их макушки; лопата за лопатой вылетала земля, белая и влажная, полная прохлады.

Один из могильщиков выбрался из ямы и подошел к Сыма Тину:

– Господин голова, уже до воды докопали.

Сыма Тин вперил в него остекленевший взгляд и медленно поднял руку.

– Гляньте, господин голова. Глубина что надо.

Сыма Тин показал ему согнутый указательный палец. Тот непонимающе уставился на него.

– Болван! – не выдержал Сыма Тин. – Подними меня!

Тот торопливо нагнулся и помог ему встать. Сыма Тин со стоном отряхнул кулаками одежду и с помощью могильщика вскарабкался на холмик свежевыкопанной земли.

– Мама дорогая! – охнул он. – Быстро вылезайте, идиоты, вы мне так до самого Желтого источника³⁰ докопаете.

Могильщики стали один за другим выбираться из ямы и тут же, выкатив глаза, зажимали носы.

– Подымайся! – пнул возницу Сыма Тин. – Давай сюда повозку. – Тот даже ухом не повел. – Гоу Сань, Яо Сы, этого сукина сына сбросить в яму первого!

Отозвался лишь Гоу Сань – он был среди могильщиков.

– А Яо Сы где? – удивился Сыма Тин.

– Да его давно уж и след простыл, улизнул, мать его, – злобно выругался Гоу Сань.

– Выгоню, как вернемся, – решил Сыма Тин и пнул возницу еще раз: – Сдох, что ли?

Возница поднялся и бросил страдальческий взгляд в сторону повозки, стоящей у края кладбища. Вороны на ней сбились в кучу, то взлетая, то снова садясь с невыносимым гвалтом. Лошади склонились к самой земле и спрятали морды в траве. На спинах у них тоже было полно ворон. Кишмя кишели они и в траве, судорожно заглатывая добычу. Две вороны не поделили что-то скользкое и тащили, каждая на себя, будто перетягивали канат. Ни той ни другой было не взять верх, они цеплялись когтями за траву, били крыльями, вытягивали шеи так, что перья вставали торчком, обнажая красную кожу, и казалось, что головы вот-вот оторвутся. Их добычу ухватила появившаяся неизвестно откуда собака, и не пожелавшие уступить ей вороны кубарем покатались по траве.

– Смилуйся, господин голова! – бухнулся возница в ноги Сыма Тину.

Тот поднял кусок земли и швырнул в ворон. Те даже не шелохнулись. Тогда Сыма Тин подошел к родственникам погибших и, умоляюще глядя на них, пробормотал:

– Вот такие дела, такие дела... Думаю, вам всем надо возвращаться домой.

Все замерли. Матушка первой опустила на колени, а за ней с жалобным плачем и остальные.

– Дай им упокоиться с миром, почтенный Сыма! – взмолилась матушка.

И вся толпа разноголосно подхватила:

– Просим, просим... Упокой их с миром! Мою мать! Моего отца! Моего ребенка...

Сыма Тин склонил голову, по шее у него ручейком струился пот. В отчаянии махнув рукой, он вернулся к своей команде и негромко проговорил:

³⁰ Желтый источник – страна мертвых.

– Значит, так, братва: вы под моим покровительством немало дел натворили – кражи, драки, вдовушки оприходованные, могилы ограбленные... Много в чем повинны перед небом и землей. Но, как говорится, войско обучают тысячу дней, а ведут в бой единожды³¹. Вот сегодня нам и нужно довести это дело до конца, даже если вороны выключат нам глаза или вышибут мозги. Я, деревенский голова, сам поведу вас, и эти восемнадцать поколений предков того, кто попробует отлынивать! Как справимся, всех угощаю вином! Теперь вставай-ка, – закончил он, поднимая возницу за ухо, – и гони сюда повозку. Ну, приятели, бери в руки что есть и вперед!

И тут из золотых волн пшеницы вынырнули трое загорелых молодцев. Когда они подошли поближе, все увидели, что это трое немых внуков тетушки Сунь. Голые по пояс, в коротких штанах одинакового цвета. Самый высокий со свистом рассекал воздух длинным гибким мечом; другой, ростом пониже, держал в руке меч-яодао с деревянной рукояткой; а у самого маленького был клинок с длинной ручкой. В вытаращенных глазах светилась ненависть, они что-то мычали и жестикулировали. Лицо Сыма Тина посветлело.

– Молодцы, ребята, – потрепал он их по голове. – Там, в повозке, ваша бабушка и братья, хотим мирно похоронить их, да воронье не дает, глумится, спасу нет. Ну словно подлые япошки эти вороны, так их и этак, мы все на них поднялись! Я понятно говорю?

Откуда-то вынырнул Яо Сы и повторил это на языке глухонемых. У немых загорелись гневом глаза, выступили слезы, и они, размахивая оружием, ринулись на ворон.

– Ах ты, хитрый черт! – Сыма Тин потряс за плечо Яо Сы. – Где пропадал-то?

– Не суди строго, голова, – отвечивал Яо Сы. – За троицей этой ходил.

Немые вскочили на повозку, сверкающие мечи тут же окрасились кровью, и на землю повалились изрубленные вороны.

– За мной! – заорал Сыма Тин.

Все, как один, бросились вперед, и битва с воронами началась. Проклятия, звуки ударов, карканье, хлопанье крыльев – все смешалось в воздухе, наполненном трупной вонью, запахом пота, крови, сырой земли, ароматом пшеницы и полевых цветов.

Истерзанные тела кое-как свалили в яму. Пастор Мюррей стоял на холмике свежевырытой земли и тянул нараспев:

– Господи, спаси души страдальцев сих... – Из голубых глаз катились слезы, стекая по багровым рубцам, оставленным на лице плетью, на изодранное черное одеяние и на тяжелый бронзовый крест на груди.

Сыма Тин стащил его с холмика:

– Отошел бы ты в сторонку и передохнул, почтенный Ма. Сам-то ведь чудом в живых остался.

Яму начали закидывать землей, а пастор, пошатываясь, подошел к нам. Солнце уже садилось, и фигура пастора отбрасывала на землю длинную тень. Глядя на него, матушка чувствовала, как под тяжелой левой грудью колотится ее сердце.

Когда солнечные лучи окрасились в пурпур, на кладбище вырос огромный могильный холм. Сыма Тин махнул родственникам, и они, встав перед холмом на колени, начали отбивать поклоны. Кое-кто слабо всхлипнул для порядка. Матушка предложила всем в знак благодарности поклониться в ноги Сыма Тину и похоронной команде. Но тот забубнил, что в этом нет нужды.

В лучах кроваво-красного заката процессия двинулась в обратный путь. Матушка с сестрами поотстали, а позади всех нетвердыми шагами тащился Мюррей. Все шли разрозненными группками, и шествие растянулось почти на целое ли. Темные тени идущих косо ложились на поля, окрашенные в золотисто-красный цвет. В тишине сумерек раздавались тяжелые шаги,

³¹ Цитата из трактата древнекитайского военного теоретика Суньцзы «Искусство войны».

слышался шелест пшеничных колосьев, овеваемых вечерним ветерком, и все это перекрывал мой надрывный рев. Печально заухала большая сова. Она только что продрала глаза, проспав целый день под пологом шелковицы, возвышающейся посреди кладбища. От ее криков сжималось сердце. Матушка остановилась, обернувшись, бросила взгляд на кладбище – там по земле стелилась пурпурная дымка. Пастор Мюррей нагнулся к седьмой сестренке, Цюди, и взял ее на руки:

– Бедные дети...

Звук его голоса растаял, и со всех сторон многоголосым хором на все лады завели свою ночную песню мириады насекомых.

Глава 11

На праздник середины осени³² нам с сестренкой как раз исполнилось сто дней. Утром матушка взяла нас на руки и отправилась к пастору Мюррею. Выходившие на улицу ворота церкви были плотно закрыты, на них кто-то намалевал грязные ругательства. Мы прошли проулком к заднему дворику и постучали в калитку, за которой открывался большой пустырь. К деревянному колу рядом с калиткой была привязана костлявая коза. Ее вытянутая морда – с какой стороны ни глянь – больше походила на ослиную или верблюжью, чем на козью, а временами даже на старушечье лицо. Подняв голову, она смерила матушку мрачным взглядом. Матушка потрепала ей бороду носком туфли. Коза протяжно проблеяла и снова принялась щипать траву. Во дворе раздались шаги и кашель пастора. Матушка откинула железный крюк, калитка со скрипом приотворилась, и она скользнула внутрь. Мюррей запер калитку, обернулся, простер свои длинные руки и заключил нас в объятия, приговаривая на прекрасном местном диалекте:

– Крошки мои милые, плоть от плоти моей...

В это время по дороге, которой мы шли на похороны, к деревне двигался Ша Юэлян во главе недавно созданного им отряда стрелков «Черный осел». С одной стороны дороги среди колосьев пшеницы высились метелки гаоляна, с другой подступали разросшиеся по берегам Мошуйхэ камыши. Палящее солнце и обильные ласковые дожди сделали свое дело: вся зелень этим летом бурно пошла в рост. Осенний гаолян с мясистыми листьями и толстыми стеблями еще не колосился, но уже вымахал в человеческий рост. Маслянисто-черные камыши, превратившись в белый пух, усыпали всё вокруг. Осень еще не вступила в свои права, но небо уже светилось той, особой, лазурью, а солнечные лучи были по-осеннему мягки.

Все двадцать восемь бойцов Ша Юэляна ехали на одинаковых черных ослах из уезда Улян, холмистого края на юге провинции. Большеголовые, мощные, крепконогие, эти ослы уступали лошадям в резвости, но необычайная выносливость позволяла им делать большие переходы. Выбирал Ша Юэлян из восьмисот с лишним голов – молодых, полных сил, некастрированных, горластых. Отряд черным струящимся потоком растянулся по дороге, окутанной молочно-белой дымкой; бока животных блестели на солнце. Когда показались разрушенная колокольня и сторожевая вышка, Ша Юэлян натянул поводья и остановился. Шедшие следом ослы продолжали упрямо напирать. Обернувшись и окинув взглядом бойцов, Ша Юэлян приказал всем спешиться, умыться самим и помыть ослов. С серьезным выражением на худом смуглом лице он сурово отчитывал нерадивых. Содержанию в чистоте лица и шеи, мытью животных он придавал большое значение.

– Сейчас, – заявил он, – когда антияпонские партизанские отряды возникают повсюду, как грибы после дождя, наш отряд должен своим внешним видом превзойти все другие, чтобы в конечном счете занять всю территорию дунбэйского Гаоми. Авторитет в глазах и сердцах простого народа можно завоевать, когда следишь за тем, что говоришь и делаешь.

После его зажигательных речей сознательность бойцов резко повысилась. Они скинули куртки, развесили на камышах, забрели на мелководье и принялись мыться, плескаясь и брызгаясь. Свежебритые головы сверкали на солнце. Ша Юэлян достал из ранца кусок мыла, разрезал его и раздал бойцам с наказом помыться как следует, чтобы ни пылинки не осталось. Сам тоже зашел в реку и, склонившись к воде плечом, на котором красовался огромный багровый шрам, принялся оттирать шею от грязи. Отряд мылся, а черные ослы занимались каждый своим делом: кто с безразличным видом жевал листья камыша, кто щипал гаолян, кто

³² Праздник любования полной луной, приходится на пятнадцатый день восьмого месяца (полнолуние) по китайскому календарю, что примерно соответствует второй половине сентября. Традиционное угощение – лунные пряники (юэбин).

покусывал зад соседа, кто стоял в глубокой задумчивости, вызволяя из потайного кожаного мешочка колотушку во всю длину и постукивая ею себя по брюху.

Между тем матушка вырвалась из объятий Мюррея:

– Ребенка задавишь, ослина этакий!

Тот обнажил в извиняющейся улыбке ровный ряд белоснежных зубов. Протянул к нам красную ручищу, потом вторую. Я засунул в рот палец и загукал. Восьмая сестренка лежала как деревянная кукла, не издавая ни звука и не шевелясь. Она была слепая от рождения.

– Смотри, тебе улыбается, – сказала матушка, поддерживая меня рукой. Я очутился в больших влажных лапах пастора, его лицо склонилось надо мной: рыжие волосы на голове, светлая поросль на подбородке, большой крючковатый, как у ястреба, нос и светящиеся состраданием голубые глаза. Тут спину мне пронзила резкая боль, я, раскрыв рот, высвободил палец и разреvelся. Слезы полились ручьем, потому что боль проникала до костей. Влажные губы пару раз коснулись моего лба – я чувствовал, что они трясутся, – и изо рта резко пахло луком и вонючим козым молоком.

Пастор сконфуженно вернул меня матушке:

– Напугал, что ли? Точно, напугал.

Матушка подала ему восьмую сестренку, взяла меня и стала похлопывать и баюкать, приговаривая:

– Не плачь, не плачь. Ты не знаешь, кто это? Ты его боишься? Не надо бояться, он хороший, он твой родной... твой родной крестный...

Колющая боль в спине не проходила, я уже изорался до хрипоты. Матушка расстегнула кофту и сунула мне в рот сосок. Я ухватился за него, как утопающий за соломинку, и стал отчаянно сосать. У хлынувшего в горло молока был привкус травы. Боль не проходила, я выпустил сосок и снова раскричался. Вконец расстроенный Мюррей отбежал в угол, сорвал какую-то травинку и стал крутить ее у меня перед глазами. Бесполезно – я продолжал орать. Он снова метнулся к стене, поднатужившись, сорвал большущий, как луна, подсолнух с золотисто-желтыми лепестками и стал вертеть его прямо перед моим лицом. Запах подсолнуха меня привлек. Пока пастор метался туда-сюда, восьмая сестренка у него на руках знай себе мирно посапывала.

– Смотри-ка, сокровище мое, какую луну сорвал тебе крестный, – приговаривала матушка.

Я протянул к луне ручонку, но спину опять пронзила боль, и я снова зашелся в крике.

– Что за напасть такая! – Губы матушки побелели, лицо покрылось испариной.

– Посмотри, может, колет что? – предположил Мюррей.

С его помощью матушка сняла с меня специально пошитый на сто дней после рождения костюмчик из красной ткани и обнаружила оставшуюся в складках одежды иглу. Там, где она воткнулась мне в спину, все было в крови. Вытащив иглу, матушка отбросила ее в сторону.

– Бедный ребенок... – причитала она. – Убить меня мало! Убить! – И, размахнувшись, с силой ударила себя по щеке, потом еще раз. Два звонких шлепка. Мюррей остановил ее руку, подойдя сзади, и обнял нас обоих. Его влажные губы покрывали поцелуями матушкины щеки, уши, волосы.

– Ты здесь ни при чем, – тихо увещевал он. – Это я виноват, я...

Он утешал ее с такой нежностью, что матушка успокоилась. Она уселась на порог комнаты и дала мне грудь. Сладкое молоко заполнило горло, и боль стала понемногу проходить. Держа во рту сосок, я вцепился ручонками в одну грудь и, дрыгая ножкой, оборонял другую. Матушка рукой прижала мою ножку, но стоило ей отпустить руку, как ножка тут же снова взлетела вверх.

– Вроде всё проверила, когда одевала, – с сомнением в голосе произнесла она. – Как там могла иголочка оказаться?! Верно, эта дрянь старая подстроила! Терпеть не может всех женщин в семье!

– А она знает?.. Я имею в виду, про нас...

– Сказала я. Уж она не отставала, натерпелась я от нее! Ведьма старая, как только земля ее носит!

Мюррей подал матушке восьмую сестренку:

– Покорми и ее тоже. Оба они – дар Божий, разве можно быть такой пристрастной!

Принимая сестренку, матушка покраснела, но, как только собралась дать ей грудь, я тут же лягнул сестру в живот. Сестра заплакала.

– Видал? – хмыкнула матушка. – Развоевался, негодник маленький. Дай ей немного козьего.

Покормив сестру, Мюррей уложил ее на кан. Та не плакала и не ворочалась – просто чудо, а не ребенок.

Пастор разглядывал светлый пушок у меня на голове, и в глазах у него мелькнуло удивление. Заметив его пристальный взгляд, матушка вскинула голову:

– Что смотришь? Чужие мы тебе, что ли?

– Не в этом дело, – покачал головой Мюррей с какой-то глуповатой улыбкой. – Аппетит у этого паршивца просто волчий.

Матушка покосилась на него и кокетливо проворчала:

– А тебе это никого не напоминает?

Мюррей расплылся в еще более дурацкой улыбке:

– Ты меня, что ли, имеешь в виду? Какой я, интересно, был маленьким? – Он мысленно вернулся к детским годам, прошедшим за многие тысячи миль отсюда, взгляд у него затуманился, как у кролика, и из глаз выкатились две слезинки.

– Что с тобой? – удивилась матушка.

Смутившись, он с деланным смешком смахнул слезы своей большущей рукой.

– А-а, ничего. Я приехал в Китай... Сколько же лет я уже в Китае?.. – пробормотал он.

– Сколько себя помню, ты всегда был здесь, – с расстановкой произнесла матушка. – Здешний ты, как и я.

– Ну нет, – возразил он. – Моя страна не здесь, меня Господь сюда направил, даже документ где-то был, что его святейшество епископ направляет меня распространять веру.

– Эх, старина Ма! – засмеялась матушка. – Мой дядя всегда говорил, что ты – цзя янгуйцзы, фальшивый заморский черт, и все эти документы тебе нарисовал один умелец из уезда Пинду.

– Глупости! – Пастор аж подскочил, словно ему нанесли величайшее оскорбление. – Ослиное отродье этот Юй Большая Лапа! – выругался он.

– Как ты можешь так ругать его? Он мой дядюшка и всегда был добр ко мне! – расстроилась матушка.

– Да не будь он твой дядюшка, я ему давно бы все хозяйство поотрывал! – бушевал Мюррей.

– Мой дядюшка одним ударом осла на землю уложит, – усмехнулась матушка.

– Даже ты не веришь, что я швед, – уныло произнес Мюррей. – Кто же тогда поверит! – Он сел на корточки, достал кисет и трубку, набил ее и молча затянулся.

– Послушай, – вздохнула матушка, – но ведь я же верю, что ты настоящий иностранец, разве этого мало? Зачем на меня-то злиться? Да и не бывают китайцы такие. Волосатый с головы до ног...

Лицо Мюррея осветила детская улыбка.

– Когда-нибудь я смогу вернуться домой, – задумчиво проговорил он. – Но даже если меня действительно отпустят, это еще вопрос, уеду ли я. Если только ты тоже поедешь со мной. – И он посмотрел на матушку долгим взглядом.

– Никуда ты не уедешь, и я не уеду, – сказала она. – Живи себе здесь спокойно, ты разве не так говорил? Неважно, светлые волосы, рыжие или черные, все люди – агнцы Божьи. Было бы пастбище, где пастись. Здесь, в Гаоми, столько травы, неужто для тебя места не хватит?

– Хватит, конечно! Да еще ты есть, травка целебная, как линчжи, – чего мне еще искать! – расчувствовался Мюррей.

Пока Мюррей с матушкой разговаривали, ослица, крутившая мельничный жернов, залезла мордой в муку. Пастор, подойдя, наподдал ей, и жернов снова с грохотом завертелся.

– Давай помогу муку просеять, пока дети спят, – предложила матушка. – Принеси циновку, постелю в тенечке под деревом.

Мюррей расстелил соломенную циновку под утуном³³, и матушка пристроила нас там в холодке. Когда она укладывала меня, я стал хватать ртом воздух в поисках соска.

– Ну и ребенок, – подивилась она. – Бездонная бочка какая-то. Скоро всю высосет до костей.

Пастор подгонял ослицу, жернов крутился, размалывая пшеничные зерна, и мука с шуршанием сыпалась в поддон. Матушка уселась под деревом, поставила перед собой корзинку из лозняка и, насыпав муки в мелкое сито, стала ритмично потряхивать его. Белоснежная свежемолотая мука падала в корзину, а отруби оставались в сите. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву, попадали мне на лицо, освещали матушкины плечи. Мюррей не давал ослице отлынивать, нахлестывая ее по заду веткой. Ослица была наша, пастор этим утром одолжил ее, чтобы помолоть муку. Уклоняясь от ветки, она рысила круг за кругом, и шкура у нее потемнела от пота.

За воротами послышалось блеяние козы, створка распахнулась, и в нее тут же просунулась симпатичная мордашка нашего муленка, который появился на свет в один день со мной. Он нетерпеливо брыкался.

– Впусти его быстрее! – велела матушка.

Подбежавший Мюррей с усилием отпихнул голову муленка назад, чтобы ослабить цепь на засове, снял крюк и отскочил в сторону, потому что муленок ворвался в ворота, подлез под ослицу и ухватил губами сосок. И тут же успокоился.

– Что люди, что скотина – всё одно! – вздохнула матушка. Мюррей кивнул в знак согласия.

Пока наша ослица кормила муленка во дворе пастора, Ша Юэлян и его бойцы старательно мыли своих ослов. Вычесали гривы и редкие хвосты специальными стальными гребнями, насухо вытерли шкуру и покрыли ее слоем воска. Все двадцать восемь ослов сияли как новенькие, двадцать восемь наездников были полны боевого задора, вороненая сталь их двадцати восьми мушкетов отливала синевой. У каждого на поясе было по две тыквы-горлянки: побольше – с порохом, поменьше – с дробью. Покрытые тремя слоями тунгового масла, все пятьдесят шесть тыквочек так и сияли на солнце. Бойцы красовались в брюках цвета хаки, черных куртках и шляпах из гаолянового лыка с восьмиугольной верхушкой. Красная кисточка на шляпе Ша Юэяна отличала его как командира отряда. Он удовлетворенно окинул взглядом ослов и всадников:

– Выше голову, братва! Покажем им, что такое отряд «Черный осел»! – С этими словами он взобрался на своего осла, похлопал его по крупу, и тот понесся вперед, как ветер.

Лошади, конечно, куда быстрее ослов, зато вышагивают ослы идеально. На лошадях всадники смотрятся впечатляюще, а на ослах радуют глаз. Не успели они оглянуться, как уже двинулись по главной улице нашего Даланя. Во время уборки урожая, когда всё вокруг покры-

³³ Утун (зонтиковое дерево) – дерево с округлой или зонтиковидной кроной, достигающее высоты 10 м. Древесина используется для изготовления традиционных китайских музыкальных инструментов.

вала пыль, стоило проехать даже одной лошади, и пыль поднималась целым облаком. Теперь же утрамбованная после летних дождей земля была твердой и гладкой, и отряд Ша Юэляна оставлял за собой лишь отпечатки подков, цоканье которых разносилось далеко вокруг. У Ша Юэляна все ослы были подкованы, как лошади, это он сам придумал. Звонкое цоканье привлекло внимание в первую очередь ребятишек, а потом и деревенского бухгалтера Яо Сы. В длинном, вышедшем из моды чиновничьем халате, с неизменным карандашом в цветочек за ухом он выскочил из дома и остановился перед ослом Ша Юэляна, низко кланяясь и улыбаясь во весь рот:

– Что за отряд под вашим началом, господин офицер? Надолго к нам или проездом? Не могу ли я, недостойный, чем-то услужить?

– Мы – отряд стрелков «Черный осел», – заявил Ша Юэлян, спешившись. – Спецподразделение цзяодунских сил антияпонского сопротивления. По приказу командования располагаемся в Далане для организации отпора японцам. Нас нужно определить на постой, обеспечить фураж для ослов и довольствие. Пища может быть простая, яиц с лепешками будет достаточно. А вот ослов, как оружие борьбы против японцев, нужно кормить хорошо. Сено должно быть мелко порезанное и просеянное, корм готовится из раскрошенных соевых лепешек, поить их надо свежей колодезной водой и уж никак не этой мутной жижей из реки.

– Я, господин офицер, такими важными делами не занимаюсь, – вывернулся Яо Сы. – Мне нужно получить указания от деревенского головы, то бишь почтенного председателя Комитета поддержки, который недавно назначен императорской армией.

Лицо Ша Юэляна потемнело, и он грубо выругался.

– Раз служит японцам, значит, их прихвостень и предатель китайского народа!

– Да наш голова и не собирался в эти председатели, – возразил Яо Сы. – У него сто цинов³⁴ плодородной земли, много мулов и лошадей; сыт, одет и горя не знает, а за это взялся лишь потому, что выбора не было. Да уж если кому и быть председателем, то лучшего, чем наш хозяин, не найти...

– Веди меня к нему! – прервал его Ша Юэлян.

Отряд расположился у ворот управы, а Ша Юэлян вслед за Яо Сы вошел в главные ворота Фушэнтана. Усадьба раскинулась семью анфиладами, по пятнадцать комнат в каждой, с бесчисленными проходными двориками и дверьми тут и там, как в лабиринте. Сыма Тина Ша Юэлян застал во время перебранки с младшим братом. Пятого числа пятого месяца Сыма Ку устроил пожар на мосту, но японцам никакого вреда не причинил, а себе зад обжег. Рана долго не заживала, теперь к ней добавились еще и пролежни, так что он мог лежать лишь на животе, задницей кверху.

– Ну и болван же ты, брат. – Сыма Ку лежал, опершись на локти и высоко подняв голову. Взгляд его сверкал. – Болван последний. Ты понимаешь, что значит быть председателем Комитета поддержки? Это и японцы будут гонять тебя, как собаку, и партизаны пинать, как осла. Как говорится, мышь забралась в кузнечные мехи – дует с обеих сторон, – будут на тебе отыгрываться и те и другие. Никто не согласился, а ты – пожалуйста!

– Чушь! Чушь ты несешь! – возмущался Сыма Тин. – Только круглый идиот будет хвататься за такое назначение. А мне японские солдаты штыки к груди приставили, и офицер через Ма Цзиньлуна, переводчика, говорит: «Твой младший брат Сыма Ку вместе с бандитом Ша Юэляном подожгли мост и устроили засаду, императорская армия понесла большие потери. Мы сначала хотели спалить ваш Фушэнтан, но видим – ты человек честный, и решили тебя помиловать». Так что председателем я стал наполовину благодаря тебе.

– Эта задница, чтоб ее... Когда только заживет! – проворчал уличенный в несправедливости своих обвинений Сыма Ку.

³⁴ Цин – мера площади, равная 100 му, т. е. 5,2 га.

– Лучше бы не заживала. Мне хлопот меньше! – в сердцах бросил Сыма Тин.

Повернувшись, чтобы уйти, он заметил в дверях ухмыляющегося Ша Юэляна. Яо Сы выступил вперед, но не успел он рта раскрыть, как раздался голос Ша Юэляна:

– Председатель Сыма, я и есть Ша Юэлян.

Сыма Тин ничего не ответил, потому что его опередил перевернувшийся в кровати Сыма Ку:

– Так это ты Ша Юэлян по прозвищу Монах Ша?

– В настоящее время ваш покорный слуга – командир партизанского отряда стрелков «Черный осел». Премного благодарен младшему хозяину Сыма за подожженный мост. Действовали мы слаженно, без сучка без задоринки.

– А-а, ты еще жив, негодяй! – продолжал Сыма Ку. – Ну и как же ты, эти его, воюешь?

– Засады устраиваю!

– Засады он устраивает! Да тебя в лепешку растоптали бы, кабы не я с факелом!

– А у меня снадобье от ожогов имеется, могу за ним послать, – расплылся в улыбке Ша Юэлян.

– Собери-ка на стол угощение для командира Ша, – перевел взгляд на Яо Сы Сыма Тин.

– Комитет поддержки только что создан, денег нет совсем, – смутился тот.

– Ну надо быть таким тупым! – вскипел Сыма Тин. – Это же не моей семьи императорская армия, а всех восьмисот жителей. Отряд стрелков тоже не мой личный, а всего народа в деревне. Пусть каждая семья, каждый двор внесет свою долю зерном, мукой или деньгами: гости для всех, всем их и принимать. Вино от нашего дома.

– Председатель Сыма Тин во всем добивается успеха, – ухмыльнулся Ша Юэлян. – И там и там успевает.

– А что делать, – отвечал Сыма Тин. – Как говорит наш пастор Ма, если я не спущусь в ад, то кто же!

Пастор Мюррей открыл крышку котла, засыпал в кипящую воду лапшу из новой пшеничной муки, помешал палочками и снова закрыл.

– Добавь еще немного! – крикнул он матушке.

Кивнув, она запихнула в печь еще одну охапку гибкой золотистой пшеничной соломы, от которой шел приятный дух. Не выпуская груди изо рта, я покосился на бушующие в печке языки пламени, слыша, как с треском загораются стебли, и мне вспомнилось совсем недавно: меня положили в корзинку на спину, но я тут же перевернулся на живот, чтобы видеть матушку, которая в это время раскатывала лапшу на разделочной доске. Ее тело поднималось и опускалось, и эти ее драгоценные пухлые тыковки ходили ходуном, они манили меня, посылали мне тайную весть. Иногда их красные, как финики, головки сходились вместе, словно целуясь или что-то нашептывая друг другу. Но в основном эти тыковки летали вверх-вниз и ворковали при этом, как парочка счастливых голубков. Я потянулся к ним ручонками, рот наполнился слюной. Они вдруг засмутились, напряглись, зарумянились, и в узкой ложбинке между ними ручейком потянулся пот. На них задвигались светящиеся голубым светом пятнышки: это были глаза пастора. Оттуда протянулись две покрытые светлыми волосками ручки и умыкнули мою пищу. Сердечко у меня вспыхнуло желтыми язычками пламени, я открыл было рот, чтобы закричать, но произошедшее потом было еще досаднее. Маленькие ручки в глазах Мюррея исчезли, а к груди матушки потянулись его громадные ручищи. Он встал у нее за спиной, и эти большие, уродливые руки залапали матушкиных голубков. Своими грубыми пальцами он гладил их перышки, а потом принялся неистово мять их, тискать их головки. Бедные мои драгоценные тыковки! Мои нежные голубки! Они вырывались, хлопая крыльями, сжимались, делаясь все меньше и меньше – казалось, дальше некуда, – а потом вдруг снова набухали, расправляя крылья, словно отчаянно пытались взлететь, умчаться в безбрежные про-

сторы, подняться в голубизну небес и неторопливо плыть вместе с облаками, овеваемые легким ветерком и заласканные солнечными лучами, стонать под этим ветерком и петь от счастья, а в конце концов тихо устремиться вниз и опуститься в бездонные глубины вод. Я громко разревелся, слезы застлали глаза. Тела матушки и Мюррея раскачивались, она постанывала.

– Пусти, ослина этакий, ребенок плачет, – выдохнула матушка.

– Ишь, паршивец маленький, – раздраженно бросил Мюррей.

Матушка схватила меня на руки и стала суетливо качать.

– Золотце мое, сыночек, – приговаривала она, будто извиняясь. – До чего я довела мою родную кровиночку... – С этими словами она сунула мне под нос своих белых голубков. Я торопливо и яростно заграбастал одного и запихнул в рот. Рот у меня не маленький, но мне бы еще побольше. Хотелось, как гадюке, проглотить этого белого голубка – ведь он только мой! – чтобы никто больше на него не покушался.

– Не спеши, сыночек мой дорогой, – приговаривала матушка, тихонько похлопывая меня по попке. Голубок был у меня во рту, а другого – маленького кролика с красными глазками – я зажал в руках и тискал за ухо, чувствуя, как часто бьется его сердце.

– Вот ведь ублюдок маленький, – вздохнул Мюррей.

– Не смей называть его ублюдком!

– А кто же он еще?

– Хочу попросить тебя окрестить его и дать имя. Сегодня как раз сто дней, как он родился.

– Окрестить? – переспросил Мюррей, уверенно растягивая лапшу, – он явно набил в этом руку. – Я уж и забыл, как крестят. Я тебе лапшу делаю, как научила меня та мусульманка.

– И далеко ли зашли ваши хорошие отношения?

– Да ничего такого, никакой «переплетенной лозы», все чисто и безгрешно.

– Ну да, так я тебе и поверила!

Мюррей рассмеялся, разминая и растягивая мягкое тесто и шлепая его на разделочную доску.

– Расскажи, расскажи! – не отставала матушка.

Тесто снова шлепнулось на доску, потом он опять стал тянуть его – то будто натягивая лук, то словно вытаскивая змею из норы. Даже матушка дивилась, глядя на него: как у этих больших, грубых рук иностранца могут получаться такие чисто китайские движения, требующие навыка и ловкости.

– Может, никакой я и не швед, – сказал он, – и все, что было в прошлом, лишь сон. Как считаешь?

Матушка холодно усмехнулась:

– Я спросила о твоих делах с той темноглазой, ты в сторону-то не уходи.

Мюррей растягивал обеими руками тесто, словно играя в детскую игру; потом стал показывать его, то натягивая, то отпуская, и, когда он отпускал уже тонкую, как травинка, полоску теста, она тут же скручивалась в узел, а стоило ему потрясти ее, она становилась раскидистой, как лошадиный хвост.

– Если эта женщина умеет так лапшу растягивать, то хозяйка, видать, неплохая, – похвалила матушка ловкость Мюррея.

– Ладно, мамаша, хватит фантазировать, разжигай огонь, сварю тебе лапши на ужин.

– А после ужина?

– После ужина окрестим маленького ублюдка и дадим ему имя.

– Маленькие ублюдки – это те, кого ты с мусульманкой настрогал, – с притворной обидой парировала матушка.

Когда звучали эти ее слова, Ша Юэлян поднимал чарку вина, чтобы чокнуться с Сыма Тинем. За вином они сошлись на следующем: все ослы отряда стрелков разместятся на постой и кормежку в церкви; бойцы отряда будут квартировать по крестьянским дворам; местоположение штаба Ша Юэлян после застолья выберет сам.

Когда под охраной четырех бойцов Ша Юэлян вслед за Яо Сы вошел в наш двор, он тут же заприметил мою старшую сестру Лайди. Она стояла у чана с водой и расчесывала волосы, глядя на отражение белых облаков, неторопливо плывущих в синеве небес. После относительно спокойного лета, когда хватало еды и одежды, сестра разительно переменялась: высокая грудь, тонкая гибкая талия, округлившийся зад, а прежде сухие черные волосы теперь маслянисто блестели. За какую-то сотню дней она сбросила блеклую, пожелтевшую кожу девочки-подростка и превратилась в привлекательную, как красавица бабочка, девушку. Белая переносица с горбинкой, как у матушки. Пышной грудью и широкими бедрами она тоже пошла в мать.

С прядью черных волос в руке и с деревянным гребнем у чана с водой стояла застенчивая девушка, «встревоженный дикий гусь»³⁵, и в глазах ее светилась грусть. Увидев ее, Ша Юэлян просто обомлел.

– Штаб отряда стрелков «Черный осел» будет здесь, – решительно заявил он.

– Шангуань Лайди, мать твоя где? – обратился к сестре Яо Сы.

Она не успела ответить, а Ша Юэлян махнул Яо Сы, чтобы тот помолчал. Подойдя к чану, он посмотрел на сестру, а та взглянула на него.

– Не забыла меня еще, сестренка?

Лайди кивнула, и на щеках у нее вспыхнули два красных облачка. Она развернулась и убежала в дом.

После пятого числа пятого месяца сестры перебрались в комнату, которую раньше занимали урожденная Люй и Шангуань Фулу. Помещение в восточной пристройке, где ютились все семеро, переделали под амбар, и там сейчас хранилась пшеница. Войдя в дом вслед за Лайди, Ша Юэлян увидел спящих на кане моих шестерых сестер.

– Не бойся, – дружески улыбнулся он. – Мы – бойцы антияпонского сопротивления, простому народу зла не чиним. Ты видела, как мы сражались. Это была героическая битва и трагическая тоже, сражались мы яростно, покрыв себя славой на все времена, и настанет день, когда о нас напишут оперы и будут играть их на сцене.

Старшая сестра стояла, опустив голову и теребя прядь волос. Она вспомнила тот необычный день, когда стоящий сейчас перед ней человек кусок за куском сдирает с себя превратившуюся в лохмотья одежду.

– Сестренка... Нет, барышня! Нас свела сама судьба! – с глубоким чувством произнес он и вышел во двор.

Сестра последовала за ним до порога и наблюдала, как он сначала зашел в восточную пристройку, а потом в западную. В западной его испугали сверкавшие зеленым светом глаза урожденной Люй, и он попятился оттуда, зажав нос рукой. Потом скомандовал бойцам:

– Расчистите место и устройте мне постель!

Опершись на косяк, сестра не сводила глаз с этого худого, кособокого, смуглого мужчины, напоминающего пораженную молнией софору.

– А отец твой где? – спросил он, обращаясь к Лайди.

Вперед услужливо выскочил притаившийся за углом Яо Сы:

– Ее отца убили пятого числа пятого месяца японские черти, то бишь императорская армия. В этот же день погиб и ее дед Шангуань Фулу.

– Какая еще «императорская армия»? Черти, мелкие черти японские! – взревел Ша Юэлян и, яростно выругавшись, топнул пару раз ногами, чтобы показать, как он ненавидит

³⁵ Традиционный образ девичьей красоты; строка из стихотворения Цао Чжи (192–232).

японцев. – Барышня, твоя ненависть – наша ненависть, она глубока, как море крови, и мы непременно отомстим! Кто сейчас у вас в семье главный?

– Шангуань Лу, – ответил за нее Яо Сы.

В это время в церкви крестили меня и восьмую сестренку. Задняя дверь пасторского дома вела прямо в храм, где на стенах висели выцветшие от времени картины с голенькими младенцами, пухленькими, как клубни красного батата, и крылатыми. Позже я узнал, что их называют ангелочками. В дальнем углу храма над сложенным из кирпичей возвышением висела фигура человека, вырезанная из тяжелого и твердого жужуба. То ли резчику не хватило мастерства, то ли дерево оказалось слишком твердое, но человек этот и на человека-то не походил. Потом мне сказали, что это Иисус Христос, необыкновенный герой, великий праведник. Тут и там стояло с десятков скамей, покрытых толстым слоем пыли и птичьего помета.

Матушка вошла в храм со мной и сестренкой на руках и спугнула стайку воробьев, которые отлетели к окну и ударились о стекло. Главная дверь церкви выходила прямо на улицу, и через щели матушка увидела разгуливающих там черных ослов.

Мюррей нес большую деревянную купель. Она была наполовину наполнена горячей водой, в ней плавала мочалка. От купели шел пар, глаза согнувшегося под ее тяжестью пастора превратились в узкие щелочки, шея напряглась, и он еле переставлял ноги. Один раз даже чуть не свалился, и водой ему обдало лицо. Пастор с трудом доплелся до возвышения и поставил там купель.

Подошла матушка со мной на руках. Мюррей принял меня и стал опускать в воду. Но как только горячая вода коснулась кончиков пальцев, я тут же поджал ноги, и под сводами храма эхом раскатились мои вопли. Птенцы ласточки из большого гнезда на балке, вытянув шеи, разглядывали меня темными глазками, а в это время в разбитое окно впорхнули их родители с пищей в клювах. Мюррей вернул меня матушке, встал на колени и стал помешивать своей ручищей воду в купели. За нами с состраданием наблюдал жужубовый Иисус. Ангелочки со стен гонялись за воробьями – с поперечной балки на опорную, с восточной стены на западную, по деревянной лестнице, поднимающейся спиралью на разрушенную колокольню, а оттуда назад, на стены, чтобы передохнуть. На блестящих попках у них даже выступили капельки пота. Вода в купели ходила по кругу, завихряясь воронкой посередине.

– Годится, – сказал Мюррей, – уже не горячая. Давай, опускай.

Вдвоем они раздели меня. Молока у матушки было много и прекрасного качества, так что я был белокожий и пухлый. Поменялось бы у меня выражение лица с заплаканного на гневное или появилась бы на нем торжествующая усмешка, выросли бы у меня на спине крылья – и я стал бы ангелочком, а эти пухлые младенцы на стенах были бы мне братья. Матушка опустила меня в купель, и я тут же перестал плакать: в теплой воде было приятно. Сидя в купели, я шлепал ручками по воде и радостно гулил. Мюррей вынул из воды свое бронзовое распятие и прижал к моей макушке:

– С сего момента ты есть один из возлюбленных сынов Божиих. Аллилуйя! – Он отжал мочалку у меня над головой.

– Аллилуйя, – повторила матушка, – аллилуйя.

На голову мне лилась святая вода, и я радостно смеялся.

Сияющая матушка опустила в купель восьмую сестренку и, взяв мочалку, стала нежно тереть наши тельца, а пастор Мюррей в это время черпал ковшиком воду и поливал нам головы. С каждым новым потоком звучал мой звонкий смех, сестренка судорожно всхлипывала, а я хватал ее, мою смуглую и тощую двойняшку, руками.

– У них у обоих имен нет, – сказала матушка. – Дал бы ты им имена, что ли.

Мюррей отложил ковшик:

– Это дело серьезное, нужно поразмыслить хорошенько.

– Свекровь говорила, что если рожу мальчика, нужно назвать его Шангуань Гоур – Щенок. Мол, с таким скромным именем его легче вырастить.

– Нехорошо, нехорошо, – покачал головой Мюррей. – Какие еще щенки и котята, это супротив заповедованного Господом. Да и Конфуций не так учил, он говорил: «Если имена неправильны, то слова не несут истины»³⁶.

– Я тут придумала одно, а ты уж гляди – подойдет или нет. Может, назвать его Шангуань Амэнь?³⁷

– Совсем никуда не годится, – хмыкнул Мюррей. – Давай-ка ты помолчи, а я поразмыслю.

Он встал и, сцепив руки за спиной, принялся расхаживать по церкви среди царившей в ней разрухи. Казалось, он места себе не находит, и можно было представить, какой поток мыслей проносился у него в голове, сколько вертелось на языке имен и символов – древних и современных, китайских и иностранных, небесных и земных. Посмотрев на него, матушка улыбнулась мне:

– Глянь на своего крестного. Думаешь, он имя тебе ищет? Больше похоже, что готовится вместо кого-то объявить о смерти. Что называется, сваха говорит – будто майна трещит, о смерти даже и то на бегу скажет. – Она набрала воды в оставленный пастором ковшик и, мурлыкая что-то себе под нос, стала поливать нам головы.

– Есть! – повернувшись к нам, вскричал Мюррей, после того как уже в двадцать девятый раз прошелся к крепко запертой главной двери храма.

– И что же ты придумал? – нетерпеливо воскликнула матушка.

Мюррей уже собрался было ответить, но тут в дверь громко забарабанили. С улицы доносился гул голосов, дверь сотрясалась, кто-то громко разговаривал. Охваченная страхом, матушка встала, все еще с ковшиком в руке. Мюррей прильнул к трещине в двери. Мы тогда понятия не имели, что он там увидел, но заметили, как он побагровел – то ли от гнева, то ли от волнения.

– Быстро уходи, – велел он матушке. – Через двор.

Матушка нагнулась, чтобы взять меня на руки, а перед этим, конечно, отшвырнула ковшик, который с кваканьем запрыгал по полу, как самец лягушки в брачный сезон. Оставшаяся в купели сестренка заплакала. В этот момент деревянный засов, треснув пополам, отлетел на пол. Створки дверей с грохотом распахнулись, и в церковь ввалился бритоголовый детина из отряда стрелков. Он ударился головой в грудь Мюррея, и пастора отбросило почти до самой стены. Прямо над ним парила стайка голопузых ангелочков. Когда засов грохнулся на пол, я выскользнул из рук матушки и тяжело шлепнулся обратно в купель, подняв фонтан брызг и чуть не задавив восьмью сестренку.

В церковь вломились еще четверо стрелков. Они огляделись, и их боевой пыл явно поубавился. Тот, что чуть не размазал пастора Мюррея по стене, почесал голову:

– Надо же, а здесь кто-то есть. – Он обвел взглядом остальных. – Вроде говорили, церковь давно заброшена. Откуда же здесь люди?

Держась за грудь, к стрелкам подошел Мюррей. Вид у него был солидный, и на лицах стрелков отразились страх и неловкость. Заговори с ними Мюррей на иностранном языке да еще с отчаянной жестикующей, они, возможно, убрались бы вон. Даже если бы он стал говорить по-китайски с сильным иностранным акцентом, они не позволили бы себе никаких вольностей. Но бедный Мюррей обратился к ним на чистейшем диалекте дунбэйского Гаоми:

– Что вам угодно, братья? – И склонился в поклоне.

³⁶ Конфуций. Лунь юй, 13:3.

³⁷ Амэнь – так звучит «аминь» на китайском.

Под мой рев – восьмая сестренка уже не плакала – стрелки разразились хохотом. Они разглядывали Мюррея с головы до ног, словно потешную обезьяну, а один, с перекошенным ртом, потрогал скрюченным пальцем волоски, торчавшие из ушей пастора.

– Обезьяна, – заржал он, – настоящая обезьяна!

– Гляди-ка, эта обезьяна еще и смазливую бабенку здесь прячет!

– Я протестую! – воскликнул Мюррей. – Протестую! Я иностранец!

– Иностранец, слышали? – обернулся к приятелям косоротый. – Чтоб иностранец говорил на чистейшем дунбэйском?! По мне так ты помесь человека с обезьяной. Заводи ослов, братва!

Схватив в охапку нас с сестренкой, матушка подошла к пастору и потянула его за руку:

– Пойдем, не зли их.

Мюррей вырвал руку и, бросившись к черным ослам, стал с силой выталкивать их из церкви. Те скалили зубы, как собаки, и громко кричали.

– А ну прочь! – заорал один из стрелков, оттолкнув пастора в сторону.

– Храм – место святое, это чистая земля Господа, как можно держать здесь скотину! – не уступал Мюррей.

– Фальшивый заморский дьявол! – выругался один из бойцов отряда, белолицый, с багровыми губами. – Моя бабуля говорила, что этот человек, – он указал на свисавшего жужубового Иисуса, – родился в конюшне. А осел – близкий родственник лошади. Так что ваш бог перед лошадьми в долгу, а значит, и перед ослами. Если можно рожать в конюшне, так почему бы не держать в церкви ослов?

Он был явно доволен сказанным и со злорадной ухмылкой уставился на Мюррея.

Тот перекрестился и запричитал:

– Господи, накажи этих лихих людей, да поразит их молния, да искушают гады ядовитые, да разорвут снаряды японские...

– Ах ты пес, предатель! – рывкнул косоротый и ударил Мюррея по лицу. Целился он по губам, а попал по орлиному носу пастора, и на грудь сразу закапала кровь. Жалобно взвизгнув, Мюррей воздел руки к распятию и громко воззвал:

– Господи, всемогущий Господи...

Солдаты сначала задрали головы на жужубового Иисуса, которого, как и скамьи, покрывал толстый слой пыли и птичьего помета, потом глянули на окровавленное лицо пастора. В конце концов их взгляды стали шарить по телу матушки, оставляя липкие следы, словно по ней проползла стая улиток. Тот, кто был осведомлен о месте рождения Иисуса, высунул кончик языка, похожий на ногу моллюска, и облизал свои багровые губы.

А все двадцать восемь черных ослов тем временем уже разбрелись по церкви. Они бродили вокруг, справляли нужду, чесали бока о стены и грызли с них известку.

– Боже! – простонал Мюррей, но его бог не внял этим мольбам.

Бойцы вырвали из рук матушки меня и сестренку и швырнули к ослам. Матушка волчицей рванулась к нам, но ей преградили дорогу окружившие ее солдаты. Косоротый первым лапнул ее за грудь. Багровые губы аж вывернулись наизнанку, когда он завладел моими белыми голубками, моими тыквочками. Матушка с воплем вцепилась ему в лицо. Багровые губы скрипились в зверской ухмылке, и тут с матушки начали сдирать одежду.

То, что произошло потом, я пронесу как тайную боль через всю жизнь: во дворе нашего дома Ша Юэлян обхаживал старшую сестру, Гоу Сань со своей шайкой налаживал постель в восточной пристройке, а пятеро «мушкетеров» – все они были назначены присматривать за ослами – повалили матушку на пол. Мы с сестренкой ревмя ревели среди ослов. Подскочивший Мюррей схватил половинку засова и с силой опустил на голову одному из солдат. Другой тут же наставил на Мюррея мушкет. Прогремел выстрел, дробины вонзились в ноги пастора, брызнула кровь. Засов выскользнул у него из руки, он медленно опустился на колени и, глядя на загаженного птицами Иисуса, что-то тихо забормотал. Слова давно забытого швед-

ского языка вылетали у него изо рта стайками бабочек. Солдаты по очереди терзали матушку. Черные ослы один за другим обнюхивали нас с сестрой. Их крики эхом отскакивали от стен и через купол храма улетали в мрачные небеса. На лице Иисуса жемчужинками выступил пот.

Натешившись, солдаты вышвырнули матушку и нас с сестрой из церкви. Следом, тесня друг друга, потянулись ослы. Они выбрались на улицу и разбежались, привлеченные запахом самок. Пока солдаты собирали их, пастор Мюррей, волоча пробитые дробью ноги, по стершимся под его подошвами ступеням деревянной лестницы, по которой он поднимался бесчисленное число раз, забрался на колокольню. Там он встал, опираясь локтями на подоконник, и через разбитый витраж окинул взглядом весь Далань, центр дунбэйского Гаоми, где прожил несколько десятков лет: стройные ряды соломенных крыш, широкие серые проулки, словно подернутые зеленой дымкой кроны деревьев, речки и речушки, бегущие, поблескивая, меж деревнями, зеркальная поверхность озера, густые заросли камыша, пышное разнотравье, окаймляющее камей прудов, рыжие болота, где устраивают свои игрища дикие птицы, бескрайние просторы, которые разворачиваются, подобно живописному свитку, до самого горизонта, золотистый Вонюлин – гора Лежащего Буйвола, песчаные холмы с раскидистыми софорами... Его взгляд упал вниз, где на улице, словно дохлая рыба, распласталась с оголенным животом Шангуань Лу, а рядом двое орущих младенцев, и душу его охватила превеликая печаль, слезы застлали глаза его.

Макнув палец в сочащуюся из ног кровь, он написал на серой стене четыре больших иероглифа: *Цзинь Тун Юй Нюй*. Потом громко воскликнул: «Господи! Прости меня грешного!» – и ринулся вниз головой.

Пастор Мюррей падал словно большая птица с перебитыми крыльями; мозги его шлепнулись на твердую почву улицы, как кучка свежего птичьего помета.

Глава 12

Близилась зима, и матушка стала носить отороченную синим бархатом и подбитую ватой куртку свекрови. В ней Шангуань Люй собиралась лечь в гроб, шили ее четыре пожилые женщины. У каждой был полон дом сыновей и внуков, и урожденная Люй пригласила их всех на свой шестидесятый день рождения. Теперь в этой куртке ходила матушка. Спереди она вырезала два круглых отверстия, как раз на месте грудей, чтобы легче было выпростать их, когда я захочу есть. Этой осенью – воспоминание приводит меня в бешенство – разбился, бросившись с колокольни, пастор Мюррей, а матушкины груди подверглись растерзанию. Но эта беда уже отошла в прошлое – ведь они воистину прекрасны, и никто не в силах погубить их. Они как люди, владеющие секретом вечной молодости, как роскошная зелень сосен. Чтобы избежать нахальных взглядов, а главное – чтобы защитить их от холодного ветра и сохранить молоко теплым, матушка нашла на эти отверстия два кусочка красной ткани – этикие занавесочки. Изобретательность матушки переросла в традицию: такая одежда до сей поры в ходу у кормящих матерей в Далане. Только отверстия теперь более круглые, а занавесочки делают из более мягкого материала и расшивают красивыми цветами.

Моя зимняя одежда – «карман» из парусины и плотной хлопчатобумажной ткани надежно затягивался наверху тесемкой, а прочные лямки матушка завязывала под грудью. Когда наступало время кормления, она втягивала живот и поворачивала «карман», пока я не оказывался перед грудью. В «кармане» я мог стоять только на коленках, голова плотно прижималась к груди; стоило повернуть голову вправо, как я тут же находил левый сосок, поверну влево – правый. Вот уж поистине – со всех сторон ждет успех. Но был у этого «кармана» и недостаток: руками не пошевелить, и я уже не мог, следуя своей привычке, держать во рту один сосок и защищать рукой другой. Восьмую сестренку я отлучил от материнской груди вовсе. Если сестренка пыталась посягнуть на нее, я тут же начинал царапаться и лягаться, заставляя бедную слепую девочку обливаться слезами. В результате она жила лишь на жидкой каше, и старшие сестры очень расстраивались по этому поводу.

В течение долгих зимних месяцев процесс кормления омрачался для меня страшным беспокойством. Когда я держал во рту левый сосок, все внимание мое было обращено на правый. Мне представлялось, что в круглое отверстие куртки может вдруг проникнуть волосатая рука и утащить временно не занятую грудь. Не в силах отделаться от этой тревоги, я часто менял соски: чуть пососав левый, хватался за правый, а лишь отворив шлюз правого, старался перебраться к левому. Матушка наблюдала за мной с изумлением, но, заметив, что я сосу левую грудь, а кошусь на правую, быстро догадалась, что меня тревожит. Холодными губами она покрыла мое лицо поцелуями и тихонько проговорила:

– Цзиньтун, сыночек, золотце мое, все мамино молоко для тебя, никто его не отнимет.

Ее слова приуменьшили беспокойство, но полностью страха не развеялись, потому что эта покрытая густыми волосами рука, казалось, притаилась где-то рядом и лишь ждет удобного момента.

Утром шел мелкий снег. Матушка надела свою сбрую для кормления, закинула на спину меня, свернувшегося в теплом «кармане», и велела сестрам носить в подвал краснокожий турнепс. Откуда взялся этот турнепс, мне было наплевать, привлекала лишь его форма: заостренные кончики и сами пузатые корешки напоминали женские груди. Были уже драгоценные тыквочки – блестящие, маслянистые, – белоснежные голубки с нежным оперением, а теперь и этот краснокожий турнепс. Все они – цветом ли, внешним видом или теплом – были похожи на грудь, и все, независимо от времени года и настроения, были ее символами.

Небо то прояснялось, то темнело. Дул промозглый ветерок с севера, и старшие сестры в своей легкой одежке втягивали головы в плечи. Самая старшая собирала турнепс в корзины, вторая и третья сестры таскали эти корзины в подвал, четвертая и пятая, сидя там на корточках, выкладывали его на землю. У шестой и седьмой прямых обязанностей не было, но и они старались помочь в меру сил. Восьмая сестра работать вообще не могла; она сидела одна на кане, о чем-то глубоко задумавшись. Шестая сестра носила от кучи до лаза в подвал по четыре турнепса. Седьмая носила на такое же расстояние только два. Матушка со мной на спине курсировала между подвалом и кучей турнепса, раздавая указания, критикуя за оплошности и вздыхая. Указания матушка раздавала, чтобы не снижался темп работы; критиковала, чтобы подсказать, что нужно делать, чтобы турнепс за зиму не испортился. Ну а ее вздохи были об одном: жизнь штука нелегкая, и, чтобы пережить суровую зиму, нужно работать не покладая рук. К матушкиным указаниям сестры относились отрицательно, критикой были недовольны, а вздохи не воспринимали вовсе. До сих пор неясно, как на нашем дворе вдруг оказалось столько турнепса; лишь потом я понял, почему матушка старалась заготовить на ту зиму так много.

Когда перетаскивать турнепс закончили, на земле осталось валяться штук десять – разных по форме, но все же напоминавших женскую грудь. Встав на колени и согнувшись над лазом в подвал, матушка протянула руку и вытащила оттуда Сянди и Паньди. Я при этом дважды накренился и оказывался вниз головой. Из-под матушкиной подмышки были видны маленькие снежинки, плывущие в бледно-сероватом свете солнца. Завершилось все тем, что матушка передвинула расколотый чан для воды – теперь он был забит клочьями ваты и шелухой – и закрыла им круглый лаз. Сестры выстроились в шеренгу у стены дома, будто в ожидании новых приказаний. Но матушка лишь вздохнула:

– Из чего мне пошить вам всем теплую одежду?

– Из ваты, из ткани, – ответила третья сестра, Линди.

– А я будто не знаю! Деньги я имею в виду, где столько денег взять?

– Продай черную ослицу с муленком, – буркнула вторая сестра, Чжаоди.

– Ну продам я ослицу с муленком. А как будем сеять будущей весной? – парировала матушка.

Самая старшая, Лайди, все это время молчала, а когда матушка повернулась к ней, опустила глаза.

– Завтра ступайте с Чжаоди на рынок и продайте муленка, – сказала матушка, с беспокойством глядя на нее.

– Но он еще мать сосет, – вступила в разговор пятая сестра, Паньди. – Почему бы нам пшеницу не продать? У нас ее много.

Матушка бросила взгляд в сторону восточной пристройки: дверь была не заперта, а перед окном на железной проволоке сушились носки командира отряда стрелков Ша Юэляна.

Во двор вприпрыжку влетел муленок. Он появился на свет в один день со мной, тоже мальчик. Но я мог лишь стоять в «кармане» на спине у матушки, а он уже вымахал ростом со свою мать.

– Так и сделаем, завтра продадим его, – заключила матушка и направилась в дом.

В это время у нас за спиной кто-то громко окликнул ее:

– Названная матушка!

С черным ослом в поводу во двор входил где-то пропадавший три дня Ша Юэлян. На спине осла висели два пузатых ярко-красных тюка, а по швам в них проглядывало что-то пестрое.

– Названная матушка! – с чувством повторил он.

Матушка повернулась и, бросив взгляд на кособокого смуглого молодца, на лице которого светилась неловкая улыбочка, твердо отшила:

– Сколько раз говорить, командир Ша, никакая я тебе не названная мать.

Ничуть не смутившись, с той же улыбкой, он продолжал:

– Ну да, даже больше чем названная мать. Ты вот меня не жалуешь, а я к тебе со всей сыновней почтительностью.

Подозвав двух бойцов, он велел сгрузить тюки, а потом отвести осла в церковь и накормить. Матушка смотрела на черного осла ненавидящим взглядом, зло уставился на него и я. Осел раздувал ноздри, почуяв доносящийся из западной пристройки запах нашей ослицы.

Ша Юэлян развязал один из тюков, вытащил оттуда и встряхнул заблестевшую под снежинками лисью шубу. Сразу повеяло теплом, – казалось, на метр от нее таял снег.

– Названная матушка! – Он приблизился к ней с шубой в руках. – Это тебе в знак моей сыновней любви.

Она шарахнулась в сторону, но увернуться от шубы не успела – та уже повисла у нее на плечах. Свет передо мной померк, а от лисьей вони и резкого запаха камфары я чуть не задохнулся.

Когда я наконец снова смог что-то видеть, то обнаружил, что двор превратился в мир животных. Лайди стояла в соболиной шубе, а с шеи у нее свисала лиса с блестящими глазами. На Чжаоди была шуба из колонка. Линди красовалась в шубе из шкуры черного медведя, а Сянди в шубе из благородного оленя – рыжеватой, в белых пятнышках. У Паньди шуба была из пятнистой собаки, у Няньди – из овчины, а у Цюди – белая заячья. Матушкина лисья лежала на земле.

– А ну скиньте все это! – раздался громкий голос матушки. – Скиньте, кому сказала!

Но сестры будто не слышали, они вертели головами, пряча лица в воротники, поглаживали мех, и было видно, что они исполнены приятного удивления от объявшего их тепла и что уже само это удивление греет. Матушку аж затрясло.

– Оглохли все, что ли? – бессильно проговорила она.

Ша Юэлян достал из тюков оставшиеся две меховые куртки. Бережно погладив бархатистый, желтоватый с черными пятнышками мех, он с чувством произнес:

– Названная матушка, это мех рысей, единственной пары в дунбэйском Гаоми, на сто ли в округе. Старый охотник Гэн с сыном три года не могли до них добраться. Вот шкура самца, а это – самки. Рысь когда-нибудь видели? – Он окинул взглядом блистающих мехами сестер. Все молчали, и он, сам отвечая на свой вопрос, стал рассказывать, как учитель младших классов ученицам. – Рысь – это кошка, но покрупнее, походит на леопарда, но поменьше его. Умеет лазать по деревьям, прекрасно плавает, прыгает в высоту на целый чжан, может даже поймать пролетающую мимо дерева птицу. Они, эти рыси, как духи. Эта парочка обитала на заброшенном кладбище, и добраться до них было не легче, чем до неба, но и они в конце концов попались. Названная матушка, эти две курточки подношу в подарок Цзиньтуну и Юйнюй. – С этими словами он положил курточки из меха рысей из Гаоми, умевших лазать по деревьям, плавать и прыгать на целый чжан в высоту, на руку матушке. Потом нагнулся, поднял с земли огненно-красную лисью шубу, отряхнул и тоже положил ей на руку, проникновенно добавив:

– Названная матушка, уважь хоть немного.

Вечером того же дня матушка заперла двери дома на засов и позвала в нашу комнату Лайди. Меня она положила на кан рядом с Юйнюй. Я тут же протянул руку и расцарапал ей лицо. Она захныкала и забилась в самый угол. Матушке было не до нас, она в это время закрывала двери. Старшая сестра стояла перед каном в своей соболиной шубе, с лисой на плечах, скромная и в то же время гордая. Матушка забралась на кан, вынула из волос шпильку и поправила фитиль в лампе, чтобы горела ярче. Потом выпрямилась и произнесла с иронией:

– Садитесь, барышня, не бойтесь шубу замарать.

Сестра вспыхнула и, поджав губы, плюхнулась на квадратную табуретку возле кана. Лиса у нее на шее подняла хитрую морду, и глаза у нее сверкнули зеленоватым огнем.

Наш двор стал вотчиной Ша Юэяна. С тех пор как он поселился у нас, все время приходили какие-то люди. В тот вечер у восточной пристройки было больше суеты, чем обычно. Через оконную бумагу проникал яркий свет газовой лампы – она освещала весь двор, и в ее отсветах кружились снежинки. Во дворе раздавался топот ног, со скрипом открывались и закрывались ворота, из проулка то и дело доносился звонкий перестук ослиных копыт. В восточной пристройке гремел грубый мужской смех и раздавались выкрики: «Три персиковых сада!», «Пять вожakov!», «Семь цветков сливы!», «Восемь скакунов!». Шла застольная игра, когда выбрасывают определенное число пальцев. Привлеченные ароматами рыбы и мяса, шестеро сестер сгруппировались у окна пристройки, глотая слюнки.

Матушка не сводила сверкающих глаз со старшей сестры. Та упрямо смотрела на мать, и, когда их взгляды сталкивались, казалось, в стороны разлетаются синие искорки.

– Ну и о чем ты думаешь своей головой? – грозно спросила матушка.

– Что ты имеешь в виду? – парировала сестра, поглаживая пушистый лисий хвост.

– Ты из себя дурочку-то не строй.

– Мама, я не понимаю, о чем ты.

– Эх, Лайди!.. – Голос матушки погрузнел. – Ты же из девятирех самая старшая. Случись что с тобой, матери и опереться будет не на кого.

Сестра вскочила как ужаленная.

– А что еще ты от меня хочешь, мама? – В таком негодовании ее еще никто не видывал. – У тебя душа об одном Цзиньтуне болит, а мы, девочки, похоже, тут хуже дерьма собачьего!

– Ты, Лайди, мне зубы не заговаривай. Почему это вдруг «хуже дерьма собачьего»? Если Цзиньтун золото, то вы по меньшей мере серебро. Давай сегодня поговорим откровенно, как мать с дочерью. Этот Ша та самая ласка, что пришла к курам с новогодними поздравлениями, – ничего доброго за душой. А на тебя, как я вижу, он глаз положил.

Опустив голову, сестра продолжала поглаживать лисий хвост. В глазах у нее стояли слезы.

– Мама, мне бы выйти за такого человека, больше ничего и не надо.

Матушку будто передернуло:

– Ты, Лайди, выходи за кого хочешь, я не против, но не за этого Ша.

– Ну почему?

– А вот нипочему.

– Надоело горбатиться на вашу семейку, хватит! – с неожиданной злобой выпалила сестра.

Голос ее звучал так пронзительно, что матушка аж замерла, вглядываясь в покрасневшее от злости лицо и вцепившиеся в лисий хвост руки. Она пошарила рядом со мной, нащупала сметку для кана и, высоко подняв ее, возмущенно воскликнула:

– Ах вот как ты со мной разговариваешь! Смотри, как бы я тебя до смерти не запорола!

Она соскочила с кана и занесла сметку над головой сестры. Лайди даже не попыталась защититься – наоборот, с вызовом подняла голову. Рука матушки замерла в воздухе, а опустилась уже расслабленно, бессильно. Отшвырнув сметку, она обняла сестру за шею и со слезами запричитала:

– Лайди, нам с этим Ша не по пути... Разве я могу спокойно смотреть, как моя собственная дочка бросается в пучину несчастий...

Сестра тоже начала всхлипывать.

Когда обе выплакались, матушка вытерла Лайди слезы тыльной стороной ладони и взмолилась:

– Доченька, пообещай матери, что не будешь водиться с этим Ша.

Но сестра стояла на своем:

– Мама, но я только и желаю, что быть с ним! Да и семье хочу добра. – Она покосилась на лежащие на кане лисью шубу и курточки из рыси.

– Завтра чтобы все скинули это барахло! – не сдавалась и матушка.

– И ты будешь смотреть, как мы с сестрами околеваем от холода?!

– Спекулянт проклятый, вот он кто! – бросила матушка.

Сестра отодвинула дверной засов и, даже не обернувшись, вышла из дома.

Матушка, словно обессилев, откинулась на кане; было слышно, как из груди у нее вырывается сиплое дыхание.

В это время под окном послышались нетвердые шаги Ша Юэляна. Язык у него заплетался, и губы не слушались. Наверняка он намеревался легонько постучать по подоконнику и деликатно заговорить с матушкой о женитьбе. Но под воздействием алкоголя чувства притупились, а желаемое и действительное не совпадали. Он забарабанил в окно с такой силой, что прорвал дыру в бумаге, и через нее влетел холодный воздух с улицы и запах перегара.

– Мамаша! – заорал он гнусным и в то же время потешным голосом завязтого пьянчуги.

Матушка соскочила с кана, застыла на секунду, потом снова забралась на него и подтащила меня поближе к себе.

– Мамаша... – старательно выговаривал Ша Юэлян, – нашу с Лайди свадьбу... когда бы нам устроить... Нетерпеливый я вот такой немного...

– Собралась лягушка лебединого мяса поесть, – процедила сквозь зубы матушка. – Ой размечтался ты, Ша!

– Что ты сказала? – переспросил Ша Юэлян.

– Размечтался, говорю!

Он будто внезапно протрезвел и без малейшей запинки произнес:

– Названная матушка, я, Ша, еще никогда и ни у кого ничего смиренно не просил.

– А тебя никто и не заставляет просить.

– Названная матушка, – холодно усмехнулся Ша, – у Ша Юэляна, если что задумано, все исполняется...

– Тогда тебе придется сперва убить меня.

– Я твою дочку в жены взять собрался, – усмехнулся Ша Юэлян. – Как я могу свою тещу убить?

– Значит, никогда мою дочку не заполучишь.

– Дочка у тебя уже большая, – хохотнул Ша Юэлян, – и ты ей не указ, тещенька дорогая. Вот и поглядим, что выйдет.

Все так же похохатывая, он прошел к восточному окну, прорвал бумагу и бросил туда большую горсть леденцов, заорав:

– Ешьте, сестренки! Пока Ша Юэлян рядом, будете, как я, есть сладкое и пить горькое...

В эту ночь Ша Юэлян не спал. Он безостановочно бродил по двору, то громко кашляя, то насвистывая. Свистел он замечательно, потому что умел подражать десяткам птиц. А кроме кашля и свиста еще горланил арии из старинных опер и современные антияпонские песенки. Он то гневно казнил Чэнь Шимэя³⁸ в большом зале кайфэнского ямыня³⁹, то, подняв большой меч, рубил головы японским дьяволам. Чтобы этот нетрезвый герой антияпонского сопротивления, встретивший преграду в любовной страсти, не сломал дверь и не ввалился в дом, матушка закрыла ее еще на один засов. Этого ей показалось мало, и она притащила мехи, шкаф, обломки кирпичей – в общем, все, что только можно было принести, и завалила дверь. Потом засунула меня в «карман», взяла тесак для овощей и стала расхаживать по дому от

³⁸ Чэнь Шимэй – герой одной из пьес традиционного китайского театра, так называемой пекинской оперы, символ коварного мужа, бросившего жену ради другой. Осужден знаменитым судьей Бао.

³⁹ Ямынь – в старом Китае управа, резиденция правящего чиновника, суд и тюрьма.

западной стены до восточной. Никто из сестер шуб не скинул; тесно прижавшись друг к другу, они спали, сладко посапывая, и ни какофония во дворе, ни выступившие на кончиках носов капли пота не были им помехой. Седьмая сестра, Цюди, пустила во сне слюнку на соболиную шубу второй сестры, а шестая сестра, Няньди, приткнулась, как ягненок, в объятия черного медведя – третьей сестры, Линди. Как я теперь припоминаю, матушка с самого начала потерпела поражение в борьбе с Ша Юэляном. Этими мехами он переманил сестер на свою сторону, создав тем самым в нашем доме единый фронт. Матушка потеряла поддержку масс и осталась в этой войне одна.

На следующий день матушка закинула меня за спину и помчалась в дом Фань Саня. Объяснила она всё просто: чтобы отблагодарить тетюшку Сунь за оказанную милость и принятые роды, она хочет выдать Шангуань Лайди за старшего из ее внуков – бессловесного героя сражения с воронами. Если сегодня договориться о помолвке, то завтра уже можно обсудить приданое, а на третий день и свадьбу справить. Фань Сань уставился на нее, ничего не понимая.

– О мелочах не переживай, дядюшка. Вино, чтобы отблагодарить тебя как свата, у меня уже приготовлено, – добавила она.

– Но это какое-то сватовство наоборот! – Фань Сань пребывал в явном недоумении.

– Да, верно, – согласилась матушка.

– А зачем оно нужно? – никак не мог взять в толк Фань Сань.

– Дядюшка, не задавал бы ты вопросов! Пусть немой приходит к нам в полдень с подарками на помолвку.

– Да у них дома и нет ничего.

– Что есть, то и есть.

Так же бегом мы вернулись домой. Дорогой матушка вся испереживалась. И предчувствия ее не обманули. Во дворе мы увидели стаю поющих и пляшущих животных. Тут был и колонок, и черный медведь, и олень, и пятнистая собака, и ягненок, и белый заяц, не видать было лишь соболя. Соболю с лисой на шее сидел в восточной пристройке на мешках пшеницы и не сводил глаз с командира отряда стрелков. Тот устроился на тюфяке и чистил тычки-пороховницы и свой мушкет.

Матушка стащила Лайди с мешков.

– Она помолвлена с другим, командир Ша, – ледяным тоном заявила она. – У вас, в антияпонских отрядах, наверное, нельзя уводить чужих жен.

– Об этом и разговору нет, – спокойно проговорил Ша Юэлян.

Матушка выволокла старшую сестру из пристройки.

В полдень появился немой из семьи Сунь с диким кроликом в руках. Куртка на подкладке была ему явно мала – снизу торчал живот, сверху выглядывала шея, и рукава лишь наполовину прикрывали толстые руки. Все пуговицы с куртки отлетели, и поэтому немой подпоясался веревкой. Он поклонился матушке, и на лице у него появилась дурацкая улыбочка. Взяв кролика в обе руки, он положил его перед матушкой.

– Жена Шангуань Шоуси, все сделал, как ты просила, – сказал сопровождавший его Фань Сань.

Матушка долго, словно застыв, смотрела на кролика, у которого из уголка рта еще капала кровь.

– Ты, дядюшка, пока не уходи, и он пусть не уходит, – указала она на немого. – Приготовим кролика с турнепсом, и, считай, дети помолвлены.

Из восточной комнаты донеслись громкие вопли Лайди. Сначала она плакала как маленькая, пронзительно, исходя на крик, но вскоре стала сипло реветь, перемежая плач страшными и грязными ругательствами. Потом плач сменился бесслезными завываниями.

Она сидела на грязном полу у кана, уставившись перед собой и забыв про то, что на ней драгоценный мех. На лице не осталось ни слезинки, разинутый рот, походивший на высохший

колодец, исторгал беспрестанный вой. Все шестеро сестер тихо всхлипывали, слезинки скатывались по медвежьему меху, подпрыгивали на шкуре оленя, посверкивали на мехе колонка, увлажняли овечью шкуру и мочили заячью.

В комнату заглянул Фань Сань – и будто увидел привидение. Вытаращив глаза, с трясущимися губами он попятился и, развернувшись, стремглав выскочил из дома.

Старший немой из семьи Сунь стоял посреди нашей главной комнаты и вертел головой в разные стороны, с любопытством озираясь вокруг. Кроме идиотской улыбочки на его лице находили отражение потаенные мысли непостижимой глубины, а иногда это была лишь застывшая печаль, если не просто окаменевшее запустение. Позже я увидел, как страшен он может быть во гневе.

Матушка продела через кроличью губу тонкую стальную проволоку и подвесила его к балке в главной комнате. Стенания старшей сестры она игнорировала; не заметила она и странного выражения на лице немого. Взяла ржавый тесак и принялась снимать шкуру с кролика. Из восточной пристройки вышел Ша Юэлян с мушкетом.

– Командир Ша, – холодно процедила матушка, даже не повернув головы, – у нашей старшей дочери сегодня помолвка. Кролик – подарок по этому случаю.

– Хорошенький подарок, – усмехнулся Ша Юэлян.

– Сегодня у нее помолвка, завтра – подношение приданого, а послезавтра – свадьба. – Матушка ткнула тесаком по голове кролика и, обернувшись к Ша Юэляну, добавила: – Не забудь прийти выпить за молодых!

– Не забуду, разве такое забудешь. – Ша Юэлян вскинул мушкет на плечо и, звонко насвистывая, вышел из ворот.

Матушка продолжала свое занятие, но явно потеряла к нему всякий интерес. Оставив кролика висеть на балке, она прошла со мной на спине в дом и крикнула:

– Как говорится, и без ненависти мать и дитя не вместе, и без милосердия врозь, – так что, Лайди, можешь ненавидеть меня! – Выпавшие эти жестокие слова, она беззвучно зарыдала: слезы текли по щекам, плечи подрагивали – а она взялась за турнепс. Чик – и турнепсина развалилась на две половинки, открыв зеленовато-белое нутро. Чик – и две половинки распались на четыре. Чик, чик, чик, чик – движения становились всё быстрее, всё размашистее. Турнепс на разделочной доске разлетался на мелкие кусочки. Матушка еще раз высоко занесла тесак, но он уже словно плыл в воздухе и, выпав у нее из руки, упал на нарезанный турнепс. Едкий дух переполнил комнату.

Сунь поднял большой палец, выражая восхищение. Несколько произнесенных при этом нечленораздельных звуков тоже, должно быть, выражали восторг.

– Иди давай, – сказала матушка, утерев слезы рукавом. Тот стал размахивать руками, но матушка, указав в сторону его дома, громко крикнула: – Ступай, ступай, тебе говорят!

Немой наконец понял, что она имеет в виду. Он скорчил мне рожу, как маленький. Над пухлой верхней губой торчали усики – будто его мазнули зеленой краской. Он очень похоже изобразил, как лезет на дерево, потом летящую птицу и, наконец, как маленькая птичка вырывается у него из ладони. Улыбнувшись, он указал на меня, а потом ткнул себе пальцем в сердце.

Матушка еще раз махнула в сторону его дома. На миг он застыл, кивнул – мол, понятно, потом рухнул на колени вроде бы перед матушкой – она резко отшатнулась, – а по сути перед разделочной доской с нарезанным турнепсом, в поклоне коснулся лбом земли, встал и с довольным видом удалился.

Утомленная всем происшедшим, матушка спала в эту ночь глубоким сном. Проснувшись, она увидела диких кроликов, огромных, жирных, которые висели на утуне, на цедреле⁴⁰,

⁴⁰ Цедрела – дерево тропической зоны, древесина устойчива к гниению и традиционно используется как обшивочный материал.

и на абрикосовом дереве, словно диковинные плоды. Ухватившись за косяк, она медленно сползла на порожек.

Восемнадцатилетняя Шангуань Лайди сбежала в своей соболиной шубе и с лисой на шее вместе с командиром отряда стрелков «Черный осел» Ша Юэляном. А несколько десятков диких кроликов Ша Юэлян поднес матушке по случаю помолвки. Ну а заодно чтобы уесть ее. Вторая, третья и четвертая сестры помогли старшей бежать. Все случилось после полуночи: пока усталая матушка похрапывала, а пятая, шестая и седьмая сестры крепко спали, вторая сестра встала, прошла на цыпочках к двери и разобрала сооруженную матушкой баррикаду, а третья и четвертая открыли обе створки. Чуть раньше Ша Юэлян смазал петли ружейным маслом, поэтому двери отворились беззвучно. Под холодным полночным светом луны девочки обнялись на прощание. Ша Юэлян, глядя на свисающих с ветвей кроликов, тишком ухмылялся.

Через день должна была состояться свадьба. Матушка спокойно сидела на кане и штопала одежду. Ближе к полудню явился немой. Не скрывая нетерпения, он жестами и гримасами дал матушке понять, что пришел за невестой. Она слезла с кана, вышла во двор, указала на восточную пристройку, потом на деревья, где по-прежнему висели уже закоченевшие от мороза кролики. При этом она не произнесла ни слова, но немой всё понял.

Спустились сумерки. Мы, усевшись всей семьей на кане, ели нарезанный турнепс и хлебали жидкую кашу из пшеничной муки, когда от ворот донесся страшный шум. Вбежала запыхавшаяся вторая сестра. Она ходила в западную пристройку кормить урожденную Люй:

– Мама, худо дело, немой с братьями явился, а с ними свора псов!

Сестры страшно перепугались. Матушка и бровью не повела и продолжала кормить с ложки восьмую сестренку. Потом принялась с хрупаньем жевать турнепс, невозмутимая, как беременная крольчиха. Шум за воротами неожиданно стих. Спустя какое-то время – столько нужно, чтобы выкурить трубку, – через нашу низенькую южную стену перемахнули три красновато-черные фигуры. Это были немые братья Сунь. Вместе с ними во дворе появились три черных пса, шерсть у них блестела, будто смазанная топленным салом; они скользнули над стеной тремя черными радугами и бесшумно опустились на землю. Немые и собаки застыли, как статуи, в багровых лучах заходящего солнца. В руках у старшего сверкал холодным блеском гибкий бирманский меч. Второй сжимал отливающий синевой меч с деревянной рукояткой. Третий волочил покрытый потеками ржавчины клинок с длинной ручкой. За спиной у всех троих висели небольшие котомки из синей в белый цветочек ткани, будто они собрались в дальний путь. У сестер аж дыхание перехватило от страха, а матушка как ни в чем не бывало шумно хлебала кашу. Старший немой вдруг зарычал, за ним зарычали его братья, а затем и псы. Капельки человеческой и собачьей слюны заплясали в лучах заката, как светящиеся мошки. И тут немые вновь продемонстрировали искусство владения мечом, как тогда, в великой битве с воронами в день похорон на пшеничном поле. В тот далекий сумеречный час начала зимы на нашем дворе сверкали клинки: трое сильных молодых мужчин беспрестанно подпрыгивали, напряженно тянулись крепкими, как стальные листы, телами, чтобы изрубить на куски десятки висевших на ветвях кроликов. Псы рычали от возбуждения, вертя огромными головами, на лету хватая отрубленные куски. Наконец немые натешились, на их лицах появилось довольное выражение. Весь двор был усеян изрубленными кроликами. На ветках осталось несколько кроличьих голов – несорванные, высохшие на ветру плоды. Немые вместе с псами сделали несколько кругов по двору, демонстрируя свою удаль, а потом так же, как и заявили, ласточками перемахнули через стену и исчезли во мраке.

Матушка, держа перед собой чашку, еле заметно усмехнулась. Эта, очень особенная, усмешка глубоко врезалась в память всем нам.

Глава 13

Женщина начинает стареть с груди, а грудь стареет с сосков. После побега старшей сестры всегда упруго торчавшие соски матушки вдруг поникли, как созревшие колоски, став из розовых темно-красными, как финики. Молока поубавилось. Оно уже не было таким свежим, ароматным и сладким, как раньше, а стало жидким и отдавало древесной гнилью. К счастью, со временем настроение матушки улучшилось, особенно после того как съели большого угря. Соски начали обретать свою прежнюю форму, светлеть, и молока стало столько же, как и осенью. Беспокоили вызванные старением глубокие морщины у основания сосков, напоминающие замятины на книжных страницах. Эта неожиданная перемена стала тревожным сигналом, и я благодаря то ли инстинкту, то ли озарению свыше начал менять свое, прямо скажем, потребительское отношение к грудям. Я понял, что их нужно ценить, ухаживать за ними, любоваться ими, как изящной посудой, с которой обращаются с крайней осторожностью.

Зима в том году выдалась особенно морозной, но мы надеялись безбедно продержаться до весны благодаря пшенице, которой была забита пристройка, и целому подвалу турнепса. В третью девятку⁴¹, в самые студеные дни, выпало много снега, он завалил дверь, под его тяжестью ломались даже ветви деревьев во дворе. Закутавшись в подаренные Ша Юэляном шубы, мы скучивались вокруг матушки и впадали в какую-то спячку. Но вот в один прекрасный день выглянуло солнце, и снег начал таять. На крышах повисли огромные сосульки, на заснеженных еще ветвях зачирикали долгожданные воробьи, и мы стали отходить от сонной зимней одури. Уже много дней, чтобы добыть воду, растапливали снег. От турнепса, сваренного в этой воде – а он был нашей основной пищей, – сестер уже воротило. Вторая сестра, Чжаоди, первой заявила, мол, в этом году снег пахнет кровью, нужно начинать ходить по воду к реке, иначе недолго и слечь с какой-нибудь хворью. От нее не убережешь даже Цзиньтуна, хотя он и живет на молоке матери. Губастая Чжаоди говорила с обворожительной хрипотцой и уже взяла на себя главенствующую роль, которая раньше принадлежала Лайди. Она пользовалась определенным авторитетом, потому что с зимы вся готовка была на ней. Матушка же сидела себе на кане, как раненая молочная корова, и стеснительно, а иногда и с полным сознанием своей правоты запахивалась в ту самую роскошную лисью шубу: она заботилась о своем теле, о количестве и качестве молока.

– С сегодняшнего дня за водой будем ходить на Цзяолунхэ, – непререкаемым тоном заявила вторая сестра, глядя в глаза матушке. Та не возразила.

Третья сестра, насупившись, стала сетовать на скверный запах от вареного турнепса и снова предложила продать муленка, а на вырученные деньги купить мяса.

– Все вокруг замерзло и завалено снегом, где его продавать? – язвительно вставила матушка.

– Тогда диких кроликов ловить пойдем, – не сдавалась Линди. – Им в такую стужу далеко не убежать.

Матушка аж в лице переменялась:

– Запомните, дети: в этой жизни я больше ни одного кролика видеть не хочу!

Той суровой зимой во многих домах кроличье мясо действительно поднадоело. Толстые и жирные, кролики ползали по снегу хвостатыми личинками, и их могла поймать даже женщина с маленькими ножками. Лисам и корсакам было просто раздолье. Из-за войны деревенские остались без оружия: все охотничьи ружья реквизировали разномастные партизанские отряды. Опять же из-за войны настроение у людей было подавленное, и в разгар охотничьего

⁴¹ Третья девятидневка от зимнего равноденствия считается самым холодным временем.

сезона лисам не нужно было, как прежде, опасаться за свою жизнь. Долгими ночами они вольно шастали по болотам, и самок, нагулявших приплод, было больше обычного.

Третья и четвертая сестры несли на шесте большую деревянную бочку, вторая сестра тащила огромный молот. Так, втроем, они и отправились на речку. Проходя мимо дома тетушки Сунь, они невольно поглядывали на него. Во дворе царило запустение, вид у дома был нежилой. Стая ворон на окружавшей двор стене заставила вспомнить, как здесь было раньше. Кипевшая жизнь ушла в прошлое, немые исчезли неизвестно куда. Проваливаясь по колено в снег, девочки спустились с дамбы. Из кустов на них уставились несколько енотов. Под косыми солнечными лучами, падавшими с юго-востока, ложе реки сияло ослепительно-ярким светом. Под ногами хрустели тонкие белые лепешки припая. На середине реки лед отливал синевой – твердый, скользкий, блестящий. Сестры брели осторожно, но четвертая все же поскользнулась, а за ней повалились и остальные. Под девичий смех шест с бочкой и молот с грохотом упали на лед.

Вторая сестра выбрала место почище, подняла тоненькими руками молот, служивший семье Шангуань не одно поколение, и обрушила его на лед. Лед хрустнул, как под лезвием острого ножа, и от этого звука зашуршала бумага на окне нашего дома.

– Слышишь, Цзиньтун, – проговорила матушка, поглаживая соломенные волосики у меня на голове и шерсть рыси на курточке, – это твои старшие сестры лед колют. Вырубят большую прорубь, принесут бочку воды и полбочки рыбы.

Восьмая сестренка лежала в углу кана, свернувшись клубочком в своей рысей курточке, и улыбалась странной улыбкой – такая маленькая мохнатая Гуаньинь.

После первого удара на льду обозначилась белая точка с грецкий орех, на молот налипли мелкие льдинки. В третий раз сестра поднимала его уже с заметным усилием и опускала покачиваясь. Вторая точка на льду появилась почти в метре от первой. Когда точек стало больше двадцати, Чжаоди уже тяжело дышала, изо рта у нее валил пар. Еле подняв тяжелую железяку, она опустила ее из последних сил и свалилась сама. Лицо мертвенно побледнело, толстые губы стали пунцовыми, глаза затуманились, нос покрылся кристалликами пота.

Третья и четвертая сестры начали недовольно ворчать. С севера задул ветер, он резал лица, как ножом. Вторая сестра поднялась, поплевала на ладони и опять взялась за молот. Но после пары ударов упала снова.

Отчаявшись, сестры вздели бочку на шест и собрались в обратный путь. Они уже смирились с мыслью, что для готовки придется и дальше растапливать снег. В это время на скованной льдом реке появилась дюжина саней. Они мчались во весь опор, вздымая снежную пыль. Солнечный свет отражался от поверхности льда всеми цветами радуги. К тому же сани приближались с юго-востока, и второй сестре сначала показалось, что они скользнули на землю по солнечным лучам, отбрасывая золотистые отсветы. В серебристом блеске мелькали лошадиные копыта, звонко цокали подковы, на щеки сестер сыпались разлетающиеся во все стороны кусочки льда. Сестры стояли, разинув рот, и даже не пытались убежать. Сани описали круг и остановились как вкопанные. Оранжево-желтые, они были покрыты толстым слоем тунгового масла и отливали радужным блеском. В санях сидело по четыре человека, все в пышных лисьих шапках. Усы, брови, ресницы у них, даже шапки спереди были сплошь в инее. Из рта и ноздрей валил густой пар. По невозмутимости лошадок – изящных, словно точеных, с густой шерстью на ногах – вторая сестра догадалась, что это легендарная монгольская порода. Из вторых саней выскочил высокий мужчина в заношенной куртке из овчины, распахнутой на груди. Под ней виднелась телогрейка из шкуры леопарда, перехваченная широким кожаным поясом, на котором висели револьвер и топорик с короткой ручкой. У него одного шапка была не меховая, а фетровая, с тремя клапанами из кролика.

– Вы из семьи Шангуань, девушки? – спросил он.

Это был не кто иной, как Сыма Ку, младший хозяин Фушэнтана.

– Что делаете? А-а, прорубь! Ну, это работа не для девичьих рук! – И крикнул сидящим в санях: – Все слезайте, поможем соседям с прорубью, а заодно и лошадей напоим!

Из саней вылезло несколько десятков упитанных молодых, они громко отхаркивались и сплевывали. Некоторые опустились на корточки, вынули из-за пояса топоры и принялись рубить лед. Осколки летели во все стороны, но во льду образовалось лишь несколько белых выбоин. Один бородач потрогал острие топорика, высморкался и сказал:

– Брат Сыма, коли так рубить, боюсь, и до ночи не управимся.

Сыма Ку, вытащив свой топорик, тоже присел на корточки. Попробовал рубануть несколько раз и выругался:

– Ну и замерз, мать его! Крепкий как сталь.

– Давай-ка, брат, все помочимся здесь, а ну и поможет, – предложил бородач.

Сыма лишь выругался:

– Трепач хренов! – Но тут же восторженно хлопнул себя по заду – и даже рот приоткрыл, потому что обожженное место еще не зажило: – Придумал! Техник Цзян, иди-ка сюда. – Подошел худощавый человек и молча уставился на него, всем своим видом показывая, что ждет указаний. – Эта твоя штука лед расколоть может?

Цзян презрительно усмехнулся:

– Расквасит, как молот яйцо. – Голос у него был по-бабьи визгливый.

– Тогда быстренько сделай мне здесь... восемь восемь... шестьдесят четыре проруби, пусть землякам от Сыма Ку польза будет. А вы не уходите, – добавил он, обращаясь к сестрам.

Цзян откинул холстину на третьих санях и достал пару окрашенных в зеленое стальных шуток, похожих на большие артиллерийские снаряды. Уверенными движениями вытащил длинный шланг из красной резины и намотал на головки этих шуток. Затем глянул на круглый циферблат, на котором покачивалась тонкая и длинная красная стрелка. Надев брезентовые рукавицы, он щелкнул металлическим предметом, похожим на большую опиумную трубку, который был подсоединен к двум резиновым шлангам, и крутанул. Послышалось шипение выходящего газа. Его помощник, костлявый парень лет пятнадцати, чиркнул спичкой, поднес к струе газа, и она с гудением полыхнула тоненьким, не больше червя тутового шелкопряда, голубым язычком. По команде Цзяна парень влез на сани, повернул несколько раз головки стальных шуток, и голубой язычок стал ослепительно-белым и ярким, ярче солнечного света. Взяв «опиумную трубку» в руки, Цзян вопросительно взглянул на Сыма Ку. Тот прищурился и махнул рукой:

– Валяй!

Склонившись, Цзян направил белое пламя на лед. Под громкое шипение вверх на целый чжан стали подниматься молочно-белые клубы пара. Направляемая его рукой и изрыгающая белый огонь «опиумная трубка» очертила большой круг.

– Готово, – объявил Цзян, подняв голову.

Сыма Ку с сомнением склонился над льдом: действительно, в воде, вместе с мелкими обломками, плавала большая – с мельничной жернов – глыба. Цзян перерезал ее белым огнем крест-накрест и ногой загнал эти четыре куса под лед, чтобы их унесло течением. Образовалась прорубь, в которой плескалась голубая вода.

– Славно сработано! – одобрил Сыма Ку; столпившиеся вокруг бойцы восхищенно взирали на Цзяна. – Режь дальше!

И Цзян со всем тщанием прорезал в толстом, полуметровом льду Цзяолунхэ несколько десятков прорубей. Круги и квадраты, прямоугольники и треугольники, трапеции и восьмиугольники, некоторые даже в шахматном порядке, – они напоминали страницу учебника по геометрии.

– Ну, Цзян, первый опыт – первый успех! – заключил довольный Сыма Ку. – Искомандовал: – По саням, ребята, надо успеть к мосту до темноты. Но сперва напоите лошадей, напоите из реки!

Лошадей повели к прорубям на водопой, а Сыма Ку обратился к Чжаоди:

– Ты ведь вторая старшенькая? Вернешься домой – скажи матери, что в один прекрасный день я разобью-таки этого драного черного осла Ша Юэяна и верну твою сестру старшему немому Суню.

– А вы знаете, где она? – бойко спросила вторая сестра.

– С ним, с этим торговцем опиумом. С ним и его отрядом стрелков, так их и этак.

Других вопросов задать Чжаоди не осмелилась, лишь проводила его глазами до саней. Он уселся, и все двенадцать саней стрелой помчались на запад. У каменного моста через Цзяолунхэ они повернули и исчезли из виду.

В восторге от только что увиденных чудес сестры даже про мороз забыли. Им никак было не насмотреться на проруби: они переводили взгляды с треугольной на овальную, с овальной на квадратную, с квадратной на прямоугольную... Ноги промокли и вскоре обледенели. Легкие переполняла поднимающаяся из прорубей речная свежесть. Все трое исполнились благоговейного преклонения перед Сыма Ку. Перед глазами стоял славный пример старшей, Лайди, и в еще не сформировавшемся сознании второй сестры зародилась смутная мысль: «Хочу замуж за Сыма Ку!» – «У него три жены!» – прозвучало холодным предупреждением. «Тогда буду четвертой!»

– Сестра, тут мяса дубина целая! – испуганно воскликнула Сянди.

«Дубиной» оказался здоровенный угорь, всплывший из мрака речного дна и неуклюже ворочавший серебристо-серым телом. Угрюмые глаза на большой, с кулак, голове напомнили о змее, страшной и безжалостной. Голова пускала пузыри у самой поверхности.

– Угорь! – восторженно воскликнула Чжаоди. Схватив бамбуковый шест с крючком на конце, она ударила по этой голове, вспенив воду. Угорь ушел вниз, но тут же всплыл опять. Удар пришелся ему по глазам. После второго сокрушительного удара он стал двигаться все медленнее и медленнее и наконец затих совсем. Сестра отбросила шест, ухватила рыбину за голову и вытащила из воды. Угорь тут же закоченел на морозе и действительно превратился в настоящую дубину.

Набрав воды, сестры еле добрались до дому: третья и четвертая несли бочку, а вторая сестра одной рукой тащила молот, а другой, под мышкой, – угря.

Матушка отпилила угрю хвост и разрежала тулово на восемнадцать частей – они со стуком падали на землю. Угря из Цзяолунхэ сварили в воде из Цзяолунхэ, и суп получился – пальчики оближешь. С того дня матушкина грудь вновь обрела молодость, хотя морщинки, как замятины на книжной странице, остались.

После того как мы вволю наелись этого чудесного рыбного супа, улучшилось и матушкино настроение. Ее лицо вновь сияло добротой, как лик Девы Марии или бодхисатвы Гуаньинь. Облепив ее, как листочки лotosового трона, сестры слушали матушкины рассказы о дунбэйском Гаоми. В тот уютный вечер в доме царила любовь. На Цзяолунхэ завывал северный ветер, печная труба выводила трели что твой свисток. Во дворе потрескивали, раскачиваясь под ветром, обледенелые ветви деревьев; на камень, где отбивали белье, с крыши упала сосулька и со звоном разлетелась на мелкие кусочки.

– В правление под девизом Сяньфэн⁴² династии Цин, – рассказывала матушка, – здесь еще никто постоянно не жил. Летом и осенью сюда приходили ловить рыбу, собирать лекарственные травы, тут разводили пчел, пасли коров и овец. Откуда взялось название Далань?⁴³

⁴² 1850–1861 гг.

⁴³ Далань – букв. большая изгородь.

Говорят, ветви деревьев переплелись между собой и образовали изгородь, поэтому здесь останавливались пастухи со стадами овец. Зимой здесь охотились на лис, но все охотники, слышала я, умирали не своей смертью. Если не замерзали в пургу, то заболели дурной болезнью. Позже – в каком году и месяце, неведомо – обосновался здесь один человек могучей силы и великой храбрости. Звали его Сыма Да Я, это дед братьев Сыма Тина и Сыма Ку. Да Я – его прозвище, а настоящего имени никто не знает. Хотя его и прозвали Да Я – Большой Зуб, – передних зубов у него не было вовсе, и говорил он пришепётывая. Да Я построил себе шалаш на берегу реки и добывал пропитание острой и ружьем. Рыбы в те времена было хоть отбавляй – в реке, в вымоинах, в низинках – наполовину вода, наполовину рыба. Однажды летом сидел он на берегу с острой. Глядь – по течению плывет большой глазированный чан. Пловец Да Я был отменный и мог провести под водой столько, сколько надобно, чтобы трубку выкурить. Нырнул он в реку и вытащил чан на берег. А в чане – девушка в белом платье, слепая. – При этих словах мы все повернули головы к нашей слепой – Юйнюй. Она слушала, склонив голову набок, на больших ушах четко проступали кровеносные сосуды. – Девушка эта была просто красавица, – продолжала матушка. – Если бы не слепота, хоть за императора выдавай. Потом родила она мальчика и умерла. Да Я выкормил ребенка рыбным супом и дал ему имя Сыма Вэн⁴⁴. Это был батюшка Сыма Тина и Сыма Ку.

Далее матушка рассказала, как власти переселяли в дунбэйскую глубинку народ, поведала о дружбе Сыма Да Я со старым кузнецом Шангуанем, нашим прадедом, о том, как тогда в Дунбэе началось движение ихэтуаней⁴⁵, как Сыма Да Я вместе с нашим дедом устроили с германцами, которые прокладывали железную дорогу, яростное сражение при Дашалян – большой песчаной гряде к западу от деревни: вспоминая о нем, не знаешь – плакать или смеяться. А дело было так. Прослышали они, что у германцев нет коленок и ходят они на негнувшихся ногах. Еще прознали, что германские черти чистюли страшные и больше всего боятся испачкаться в дерьме: от него их воротит так, что могут и дуба дать. Еще заморских чертей называли ягнятами⁴⁶, а ягнята больше всего боятся тигров и волков. Вот эти два первопроходца из Гаоми и сколотили из любителей вина и мацзяна⁴⁷, а также из другого отребья отряд «Хулан» – «Тигры и волки». Все, ясное дело, молодцы хоть куда: и смерти не страшились, и воинскими искусствами владели отменно. С этим отрядом Сыма Да Я и наш дед Шангуань Доу задумали заманить германских солдат на большую песчаную гряду, чтобы их нестигающиеся костыли-ноги увязли в песке. Бойцы отряда раскачают подвешенные на ветках чаны с дерьмом и бутылки с мочой и окатят чистоплюев-германцев. Тем станет так худо, что они тут же и окочурятся. В исполнение этой задумки «тигры» и «волки» под водительством Сыма Да Я и Шангуань Доу целый месяц собирали дерьмо и мочу, наполняли ею оплетенные бутылки из-под вина и отвозили на Дашалян. Место, где прежде разносился аромат цветущих софор, так провоняло, что пчелы, прилетавшие туда каждый год за нектаром, дохли тысячами...

В тот чудный вечер, когда мы, погрузившись в распавшуюся воображение историю дунбэйского Гаоми, пытались представить себе эту великую битву, родной внук Да Я, Сыма Ку, проезжал по льду под железнодорожным мостом через Цзяолунхэ в тридцати ли от деревни – здесь и проходила построенная германцами железная дорога Цзяоцзи⁴⁸, – готовясь открыть новую страницу в истории нашего края. Героическая борьба с германцами отряда «Хулан», бойцы которого сражались, не жалея жизни и используя самые невероятные способы, на какое-то время задержала ее строительство. Но потом эта железная полоса все же рассекла мягкое

⁴⁴ Вэн – букв. чан.

⁴⁵ Восстание ихэтуаней (букв. отрядов гармонии и справедливости) против иностранного вмешательства в жизнь Китая (1898–1901). Подавлено войсками восьми европейских держав и Японии.

⁴⁶ Кит. сяо ян – «ягненок» – звучит так же, как «презренный иностранец».

⁴⁷ Мацзян – азартная игра.

⁴⁸ Строилась в 1897–1904 гг., соединяет города Циндао и Цзинань в провинции Шаньдун.

подбрюшье дунбэйского Гаоми на две половины. Как выразился по этому поводу Сыма Вэн, «это все равно, мать их, что животы нашим женщинам вспороть». И вот огромный железный дракон, изрыгая густой дым, покатился по Гаоми, как по нашей груди. Сейчас тут хозяйничали японцы. Они отправляли по этой дороге наш уголь и хлопок, чтобы потом обрушить все это на наши же головы в виде пуль и снарядов. Задумав разрушить железнодорожный мост, Сыма Ку, можно сказать, продолжал дедовские традиции во славу нашего края. Вот только средства у него, ясное дело, были совершеннее, чем у предков.

Три Звезды⁴⁹ клонились к западу, над верхушками деревьев повис серп луны. Мост гудел под лютовавшим на реке западным ветром. Мороз в тот вечер был такой, что даже лед на реке покрылся широкой паутиной трещин, и треск стоял громче ружейной пальбы. Возле моста санная колонна остановилась. Сыма Ку выскочил из саней первым. Зад болел так, будто кошки искушали. На небе тускло мерцали звезды, чуть отсвечивал прибрежный припай, а вокруг царила кромешная мгла. Он похлопал в ладоши, и хлопki раскатились в морозном воздухе. Загадочный мрак волновал и бодрил. Позже на вопросы о том, как он чувствовал себя перед этой операцией, Сыма Ку отвечал: «Отлично. Будто Новый год праздновал».

Держась за руки и осторожно ступая, бойцы зашли под мост. Сыма Ку забрался на опору и, достав из-за пояса топорик, рубанул по одной из ферм. Лезвие высекло большущую искру, и стальная конструкция резко загудела.

– Бабку твою за ногу! – выругался Сыма Ку. – Сплошная сталь.

Вечернее небо с шелестом прочертила падающая звезда. Длинный хвост разлетелся красивыми голубыми искорками, которые ненадолго осветили пространство между небом и землей, и ему удалось разглядеть бетонные опоры моста и переплетения стальных ферм.

– Цзян! – крикнул он. – Иди-ка сюда!

Под одобрителный гул товарищей Цзян забрался на опору, следом стал карабкаться его юный помощник. На опоре, как грибы, выросли глыбы льда. Сыма Ку протянул парню руку, но сам при этом поскользнулся. Парень устоял, а Сыма Ку грохнулся вниз, на лед, причем тем самым местом, откуда беспрестанно сочилась кровь с гноем.

– Мамочки! – заорал он. – Больно-то как, сдохнуть можно...

Подбежавшие бойцы стали поднимать его, а он продолжал жалобно сетовать, и его вопли разносились далеко в округе.

– Потерпи чуток, брат, – утешал его один из бойцов, – не то плакала наша конспирация.

Сыма Ку тут же умолк и, дрожа всем телом, скомандовал:

– Цзян, быстро за дело. Несколько разрезов – и ходу отсюда. Все этот Ша Юэлян, мать его, со своей мазью. Чем больше втираешь, тем хуже становится, – добавил он.

– Вот ты и раскрыл коварный план этого типа, брат, – ухмыльнулся еще один боец.

– Болячка скрутит – любому лекарю обрадуешься, – огрызнулся Сыма Ку.

– Потерпи, брат, – продолжал боец. – Вот возвратимся, попользую тебя барсучьим жиром. Любые ожоги лечит на все сто, намажешь – и всё как рукой снимет.

Меж балок моста с шипением взметнулись голубые искры – голубые с белым, белые с голубым, – и вспыхнул такой яркий свет, что заслезилась глаза. Явственно обозначились пролеты моста, опоры, балки, фермы, полушубки из собачьего меха, лисьи шапки, оранжево-желтые сани, запряженные в них монгольские лошадки... Все стало видно как на ладони. Техник Цзян и его подмастерье, пристроившись на балке, как обезьяны, резали ее вырывающимся из «опиумной трубки» дьявольским пламенем. Поднимавшийся молочно-белый дым стелился по руслу реки, и вокруг разносился необычный запах расплавленного металла. Сыма Ку следил за этими искрами и за сверкавшей, как молния, аркой света будто замороженный, даже о мучившей его боли забыл. Язычки пламени вгрызались в металл, как червячки шелкопряда в тутовые

⁴⁹ Три Звезды – пояс Ориона.

листья. Прошло совсем немного времени, и одна из балок, тяжело свесившись вниз, ткнулась под углом в лед.

– Режь, режь эту хреновину к чертям собачьим! – орал Сыма Ку.

– В том сражении, где в ход пошли дерьмо с мочой, наш дед и Да Я, по правде говоря, одержали бы победу, окажись дошедшие до них сведения верными, – продолжала свой рассказ матушка. – После того как их планы рухнули, разбежавшиеся бойцы отряда «Хулан» провели свое расследование и через полгода, опросив тысячи людей, в конце концов выяснили, что первым о том, будто у германцев нет коленок и что они окочурятся, если их облить дерьмом, узнал сам предводитель отряда «Хулан» Сыма Да Я, а ему эти сведения сообщил его сын от слепой девушки Сыма Вэн. Проводившие расследование вытащили Сыма Вэна из постели проститутки и предложили сознаться, откуда у всей этой истории ноги растут. Тот заявил, что это слова Ипиньхун, девицы из заведения «Забудь печаль». Приступили к Ипиньхун, но та напрочь отрицала, что говорила что-либо подобное. Признала только, что принимала техников-германцев, строителей и проектировщиков, да и солдатню тоже: «Вон, все ляжки истолкли своими коленками – такие они у них твердые и здоровенные. Разве я могла такую глупость сморозить!» Тут ниточка и оборвалась. Разбежавшиеся «тигры» и «волки» вернулись к своим делам – кто рыбу ловить, кто землю возделывать.

Матушкин дядя Юй Большая Лапа в то время был парень молодой, задорный и, хотя в отряд «Хулан» не попал, в сражении участие принял: притащил пару-тройку вил навоза. Он рассказывал, что, когда германцы перешли мост, Да Я запустил в них хлопушку, Шангуань Доу пальнул из берданки, и отряд стал отступать к песчаной гряде Дашалян. Германцы за ними. Черные шляпы с разноцветными перьями неспешно покачивались при ходьбе. Зеленые мундиры, усыпанные медными пуговицами, белоснежные брюки в обтяжку. Казалось, их тонкие и длинные ноги на бегу не сгибаются, будто они и впрямь без коленок. Дойдя до Дашалян, отряд выстроился в одну шеренгу и давай костерить германцев на все лады; ругательства так и сыпались, причем в рифму, – тут постарался учитель деревенской частной школы Чэнь Тэнцзяо.

– Как только «тигры» и «волки» начали выкрикивать ругательства, германские черти по команде припали на одно колено. Кто говорил, что у германцев ноги в коленях не сгибаются? Пока изумленный дядя соображал, в чем тут дело, – продолжала матушка, – из стволов германских винтовок завился дымок, и раздался звук ружейного залпа. Несколько хулителей, обливаясь кровью, попадали на землю. Увидев, что дело худо, Да Я спешно скомандовал забрать тела убитых и отходить к песчаной гряде. Увязая ногами в зыбучем песке, все не переставали размышлять о коленках германцев. Те преследовали их по пятам и продвигались по глубокому песку ненамного неуклюжее «тигров» и «волков». Более того, под брюками в обтяжку ясно обозначились ходившие ходуном большие коленные чашечки. Отряд охватила паника. Да Я тоже нервничал, но держался: «Ничего, братцы, раз они не увязли в песках, у нас для них еще кое-что имеется». Германцы в это время как раз преодолели песчаную западню. Как только они вошли в рожицу софоры, прадед ваш громко скомандовал: «Тяни!» – и несколько дюжин «тигров» и «волков» потянули за зарытые в песке веревки. Чаны и бутылки, висевшие на ветвях и скрытые от глаз красно-белыми цветками, стали опрокидываться, и на головы германских чертей обрушился ливень дерьма и мочи. Несколько плохо закрепленных чанов с дерьмом рухнули вниз, не успев опорожниться, и от удара по голове один из чертей скончался на месте. Яростно оскалившись и вопя во всю глотку, германцы один за другим отступили, волоча за собой винтовки. Дядюшка утверждал, что, если бы тогда «тигры» и «волки», подобно настоящей стае свирепых тигров и волков, бросились за ними, развивая успех, из восьмидесяти с лишним германцев не осталось бы в живых ни одного. Но отряд знай себе хлопал в ладоши и хохотал, позволив германцам добраться до речки и попрыгать в воду, чтобы смыть с себя нечистоты. «Тигры» и «волки» ожидали, что германцы захлебнутся собственной рвотой, но те, смыв грязь, снова взялись за винтовки и дали залп. Одна пуля вошла прямо в рот Да Я и вышла

через макушку. Он и хмыкнуть не успел. Германцы тогда весь Гаоми сожгли начисто. Прислал солдат и Юань Шикай⁵⁰. Они-то и схватили вашего прадеда Шангуань Доу. Для устрашения остальных его казнили посреди деревни под большой ивой самой страшной казнью: заставили ходить босым по раскаленным чугунным сковородкам. В день казни весь Гаоми гудел как пчелиный рой, посмотреть пришли более тысячи человек. Наша прабабка видела всё собственными глазами. Сначала на камнях установили восемнадцать сковородок, развели под ними огонь и раскалили докрасна. Затем палач подхватил прадеда под руки и повел по этим сковородкам босыми ногами. От ног поднимался коричневатый дымок, разнеслась омерзительная вонь. Вспоминая об этом, прабабка потом еще долго падала в обморок. По ее словам, Шангуань Доу недаром был кузнец: могучий телом и духом, с полным ртом золотых зубов, он принимал эту пытку с плачем и воплями, но о пощаде не молил. Он дважды прошел по сковородкам туда и обратно, ноги его превратились в нечто невообразимое. Потом ему отрубили голову и выставили в цзинаньской управе на всеобщее обозрение.

– Ну вот, уже недолго осталось, брат, – сказал Сыма Ку боец, обещавший попользовать его барсучьим жиром. – Поезд должен подойти до рассвета.

Под мостом валялось уже с десятков отрезанных балок, а на мосту еще сверкало белоголубое пламя.

– Сукины дети, – злобно пыхтел Сыма Ку. – Еще легко отделаются. Ты уверен, что под тяжестью поезда мост рухнет?

– Если резать дальше, брат, боюсь, он и без поезда рухнет!

– Тогда ладно. Цзян! Эй, Цзян, слезай! – крикнул Сыма Ку. – А вы, – обратился он к остальным бойцам, – помогите эти двум славным парням спуститься и выдайте в награду по бутылке гаоляновки.

Голубые искры погасли. Цзяна и его помощника с почтением приняли и усадили в сани. Близился рассвет: ветер стих, мороз стал еще злее и пробирал до костей. Монгольские лошадки потянули сани, осторожно ступая в полумраке. Через пару ли Сыма Ку скомандовал остановиться:

– Полночи трудились, а теперь полюбуемся представлением.

Поезд появился, когда небо чуть подернулось красным. Река протянулась светлой полосой, деревья на берегах отливали золотой и серебряной глазурью. Мост висел молчаливой глыбой. Сыма Ку нервно потирал руки и еле сдерживался, чтобы не выругаться. Погромыхая, состав надвигался все ближе. У самого моста он дал свисток, и этот звук эхом раскатился по округе. От паровоза поднимался черный дым, из-под колес вырывались клубы пара, от грохота и лязга аж лед на реке подрагивал. Бойцы напряженно следили за приближающимся составом, лошади прижали уши к гривам. Поезд, эта, казалось бы, безудержная грубая сила, ворвался на мост, который стоял нерушимо, как скала. На какой-то миг лица Сыма Ку и его бойцов залила бледность, но в следующую секунду они уже с радостными криками прыгали по льду. Сыма Ку, несмотря на свою довольно серьезную рану, кричал громче всех и прыгал выше всех. Огромный мост обрушился в считанные секунды, все посыпалось вниз: шпалы, рельсы, песок и гравий, земля вместе с паровозом. Паровоз врезался в одну из опор, и она тоже рухнула. Потом раздался оглушительный грохот, и вверх на несколько десятков чжанов взлетели, купаясь в лучах солнца, куски льда, огромные камни, перекрученные металлические конструкции и разнесенные в щепки шпалы. Несколько десятков нагруженных доверху вагонов навалились друг на друга: одни упали в реку, другие сошли с рельс и опрокинулись, а потом пошли взрывы. Начались они с вагона, груженного взрывчаткой, затем стали рваться снаряды и патроны. Лед растрескался, и в воздух поднялись столбы воды. Вместе с водой вылетала рыба, креветки,

⁵⁰ Юань Шикай (1859–1916) – китайский военный лидер и политический деятель.

вверх подбросило даже несколько зеленых черепах. На голову одной из лошадей упала нога в высоком ботинке: удар был такой силы, что у оглушенной лошади подкосились передние ноги, из гривы вырвало два клока волос. Колесо поезда весом, наверное, цзиней с тысячу пробило лед, и поднятый им фонтан воды окатил всё вокруг жидким илом. От мощных взрывов у Сыма Ку заложило уши, и ему оставалось лишь наблюдать, как запряженные в сани лошади бестолково тычутся друг в друга, словно мухи. Бойцы застыли кто стоя, кто сидя; из уха у одного из них сочилась черная струйка крови. Сыма Ку закричал, но не услышал собственного голоса. Бойцы тоже раскрывали рот, что-то крича, но слов было не разобрать.

Совершенно обессиленный Сыма Ку довел-таки свой санный отряд до места, где они накануне вырезали полыньи. Мои сестры – вторая, третья и четвертая – опять ходили туда за водой и за рыбой, но за ночь полыньи покрылись льдом в цунь толщиной, и Чжаоди пришлось долбить лед молотком с короткой ручкой и пешней. Когда туда добрался Сыма Ку с отрядом, лошади потянулись к воде. Но через несколько минут они затряслись всем телом, ноги у них задергались, они рухнули на лед и передохли: холодная вода разорвала расширившиеся до предела легкие.

Страшные взрывы на юго-западе в то утро ощутила каждая живая тварь в Гаоми: люди, лошади, ослы, коровы, куры, собаки, гуси, утки. Даже змеи, приняв их за весенний гром во время цзинчжэ⁵¹, повывлезали из нор и замерзли в полях.

На отдых Сыма Ку привел отряд в деревню. Сыма Тин встретил их отборными ругательствами, каких во всем Китае не услышишь. Но им, оглохшим, казалось, что тот рассыпает похвалы, потому что Сыма Тин сохранял самодовольное выражение на лице, даже когда ругался. Сыма Ку окружили трое жен – каждая со своим тайным снадобьем, секрет которого передавался из поколения в поколение, – с намерением попользовать обожженные и обмороженные места на заднице своего единственного мужчины. В результате пластырь, наложенный старшей женой, отодрала вторая, которая пришла с мазью из десятка лучших китайских лекарственных трав, а сначала ей необходимо было промыть больное место. Третья жена стерла мазь и присыпала больные места порошком из толченых сосновых и кипарисовых иголок и корней остролиста, смешанных с яичным белком и пеплом от крысиных усиков. Кожа без конца то смачивалась, то подсыхала, и к старым болячкам добавились новые. Дошло до того, что Сыма Ку надел ватные штаны, затянул на себе два ремня, и стоило появиться любой из жен, он тут же хватался за топорик или вытаскивал револьвер. Рану ему так и не вылечили, а вот слух вернулся.

Первое, что он услышал, была злобная ругань старшего брата:

– Из-за тебя, сучий потрох, вся деревня пострадает, вот увидишь!

Сыма Ку протянул маленькую ручку, такую же мягкую и розовую, с мясистыми пальцами и тонкой кожей, как у брата, и взял его за подбородок. Сыма Тин всегда брился чисто, и, глядя на пробивающуюся рыжеватую бородку из выющихся волосков и на растрескавшиеся губы, Сыма Ку грустно покачал головой:

– Мы сыновья одного отца, так что, ругая меня, ты ругаешь себя. Давай, крой, коли нравится! – И убрал руку.

Разинув рот, Сыма Тин уставился на широкоплечую фигуру брата. Покачал головой, взял гонг, вышел из ворот дома, неуклюже забрался на вышку и стал вглядываться в направлении северо-запада.

Сыма Ку еще раз съездил с отрядом к мосту, привез кусок рельса, перекрученный как жаренный в масле хворост, ярко-красное колесо от паровоза, а также груды кусков железа и

⁵¹ Цзинчжэ – третий из 24 солнечных сезонов традиционного календаря, соответствующий времени с 5 по 20 марта, когда, по крестьянским верованиям, грозы пробуждают насекомых от спячки и становится тепло. По традиции к насекомым относят и змей.

меди непонятного происхождения. Все это он разложил на главной улице перед входом в церковь и похвалялся перед земляками своими боевыми подвигами. Он раз за разом рассказывал собравшимся зевакам, как разрушил мост и пустил под откос японский воинский эшелон, и в уголках рта у него пенилась слюна. Эта история постоянно обрастала все новыми животрепещущими подробностями, становилась ярче и интереснее и в конце концов уже мало отличалась от «Фэн шэнь яньи»⁵². Самой преданной слушательницей Сыма Ку была моя вторая сестра, Чжаоди. Сначала одна из многих собравшихся, она затем стала одним из очевидцев применения нового оружия, а потом оказалось, что она тоже принимала участие в операции по разрушению моста. Она якобы следовала за Сыма Ку с самого начала, вместе с ним забралась на опору, вместе с ним и упала оттуда. Когда Сыма Ку морщился от боли, она тоже строила гримасу, будто у них болело одно и то же место.

Матушка всегда говорила, что в семье Сыма все мужчины с прибабахом. Эта девица, что приплыла в чане, красоты редкостной, но незрячая. Да и говорила так, что ничего не разберешь. Не то чтобы слов не понять – смысла не уяснить. В общем, если не лиса-оборотень, то уж точно душевнобольная. Ну и какое может быть у такой женщины потомство? Матушка уже поняла, что у Чжаоди на уме, и предчувствовала: скоро история с Лайди повторится. С тревогой вглядываясь в черные глаза дочери, матушка видела, что они горят устрашающей страстью, и поражалась, как у семнадцатилетней девушки могут быть такие пунцово-красные, бесстыдно набухшие губы. Ясное дело – молодая телушка, лишь одно в голове.

– Чжаоди, доченька, – как-то попробовала она подступиться к ней. – Ты хоть знаешь, сколько тебе годов?

Вторая сестра посмотрела на нее вызывающе:

– А тебя в моем возрасте разве уже не выдали за отца? А твоя тетушка – она сама мне говорила – в шестнадцать уже двойню родила, двух ребяточков, пухленьких, как поросята!

Раз дело дошло до таких речей, матушке оставалось лишь вздыхать. Но вторая сестра не унималась:

– Я знаю, ты сейчас скажешь, что у него уже есть три жены. Значит, буду четвертой. Можешь еще сказать, что он на целое поколение старше. Но фамилии у нас разные, родней мы друг другу не приходимся, так что никакие правила не нарушаются.

Матушка отказалась от мысли повлиять на Чжаоди, предоставив ей возможность поступать как вздумается. Внешне она казалась спокойной, но по вкусу молока можно было судить, какие в душе у нее бушуют страсти. В те дни, когда вторая сестра хвостиком ходила за этим бесшабашным болтуном Сыма Ку, матушка заставила остальных шестерых сестер копать тайный ход из подвала с турнепсом к южной стене, где были свалены стебли гаоляна. Часть выкопанной земли сбросили в уборную, часть перетаскали в ослиный хлев, а остальное ссыпали в старый колодец рядом с гаоляном.

Праздник Чуныцзе⁵³ прошел мирно. В праздник фонарей матушка вечером взвалила меня на спину, и вместе с сестрами мы пошли любоваться фонарями. Их вывешивали у каждого дома, но всё небольшие. Два огромных – с чан для воды – красных фонаря висели лишь на воротах Фушэнтана. В каждом горела большая и толстая – толще моей руки – свеча из бараньего жира. Пламя колебалось, и фонари радовали глаз своим светом. Где была в это время Чжаоди? Таким вопросом матушка уже и не задавалась. Вторая сестра стала у нас в семье партизанкой и могла пропадать три дня подряд, а могла вдруг и появиться. Пришла она и в новогоднюю ночь, когда мы собирались пускать хлопушки в честь бога богатства Цайшэня. Черная накидка наброшена на плечи так, чтобы был виден стягивающий тонкую талию ремень из воловьей кожи и засунутый за него, отливающий металлическим блеском револьвер.

⁵² «Фэн шэнь яньи» («Возвышение в ранг духов») – популярный в Китае фантастический роман XVI в.

⁵³ Чуныцзе – праздник весны, китайский Новый год.

– Вот уж не думала, что в семье Шангуань появится еще одна разбойница с большой дороги! – с издевкой проронила матушка.

Она чуть не плакала, а губы второй сестры едва дрогнули в улыбке. Это была улыбка влюбленной девушки, и матушке показалось, что ее еще можно наставить на путь истинный.

– Чжаоди, я не могу допустить, чтобы ты стала наложницей Сыма Ку, – сказала она.

На это вторая сестра ответила холодным смешком – так усмеваются порочные женщины, – и лучик надежды в душе матушки угас.

В первый день нового года матушка пошла поздравить тетушку. Когда разговор зашел о Лайди и Чжаоди, тетушка – женщина пожилая и много повидавшая на своем веку – сказала:

– Что до любовных дел сыновей и дочерей, тут уж ничего не поделаешь, как выйдет, так и выйдет. К тому же с такими зятями, как Ша Юэлян и Сыма Ку, ты горя знать не будешь. Эти двое – птицы высокого полета!

На что матушка ответила:

– Боюсь только, умрут они не своей смертью.

Но старуха и тут нашлась:

– Те, кто умирает своей смертью, большей частью никудышные трусы!

Матушка пыталась что-то возразить, но тетушка нетерпеливо махнула рукой, отмечая ее слова, как назойливую муху:

– Дай на сынка-то твоего глянуть.

Матушка вытащила меня из «кармана» и положила на кан. Я со страхом смотрел на узкое, маленькое, изборожденное морщинами лицо матушкиной тетки и на ее глубоко посаженные ясные зеленые глаза. Выступающие надбровные дуги совершенно безволосые, зато глаза окружает густая желтоватая поросль. Костлявой рукой она погладила меня по голове, потрепала за ухо, ущипнула за кончик носа и даже залезла между ног, чтобы дотронуться до моего хозяйства. Мне страшно не понравились все эти ее оскорбительные вольности, и я стал изо всех сил отползать в угол кана. Но она заграбастала меня и заорала:

– А ну вставай, ублюдок маленький!

Матушка пыталась урезонить ее:

– Тетушка, ему всего семь месяцев, как он тебе встанет!

На что та отвечала:

– Я в семь месяцев уже собирала яйца из-под куриц для твоей бабки.

Матушка согласилась:

– Так это ты, тетушка! Ты у нас человек необычный.

Тетка не сдавалась:

– Думается мне, этот мальчонка тоже не из простых! Эх, бедный Мюррей!

Матушка покраснела, а потом лицо ее покрыла мертвенная бледность. Я подполз к краю кана, ухватился за подоконник и встал.

– Глянь-ка, я же говорила, что он может стоять, вот он и стоит! – захлопала в ладоши тетушка. – Ну-ка посмотри на меня, ублюдок маленький!

– Тетушка, его Цзиньтуном зовут, что ты его все ублюдком маленьким кличешь!

– Ублюдок или нет, это только его матери известно! Верно, племянница моя дорогая? К тому же я его так любовно называю – все равно что черепашонок, зайчонок, теленок. Иди сюда, ублюдок маленький! – позвала она.

Я повернулся на трясущихся ногах и взглянул на матушку, которая следила за мной со слезами на глазах.

– Цзиньтун, сыночек дорогой! – Она протянула ко мне руки, к ним я и устремился. Я умел ходить. – Мой сын ходит, – приговаривала матушка, крепко прижимая меня к себе, – мой сын ходит.

– Сыновья и дочери как птицы, – сурово проговорила матушкина тетка. – Придет им время улетать – не удержишь. Ну а ты? Я хочу сказать, а ну сгинут они все, как управляться будешь?

– Так и буду.

– Оно, конечно, верно, – не унималась тетка, – но, что бы ты ни делала, мыслями к небесам обращайся, к морям устремляйся; покажется – край самый, тогда в горы мысленно поднимайся, себя не обижай. Понимаешь, о чем я?

– Понимаю.

– Свекровь твоя жива еще? – поинтересовалась старуха, когда они прощались.

– Жива. Валяется в ослином дерьме.

– А ведь всю жизнь всех в кулаке держала, дрянь старая. Вот уж не думала, что докатится до такого!

Если бы не эта тайная беседа матушки с теткой, я в семь месяцев не сделал бы первых шагов, матушке было бы без интереса вести нас на улицу, и праздник фонарей прошел бы для нас скучно. Возможно, и история нашей семьи была бы не такой, как сейчас.

Народу на улице было много, но всё почти незнакомые. Все были исполнены чувства стабильности и единения. В толпе шныряло множество детей с «золотыми мышинными кашаками», от которых с шипением разлетались искорки. Мы остановились перед Фушэнтаном, чтобы полюбоваться на висевшие с обеих сторон ворот громадины-фонари. В их размытом желтом свете на горизонтальной доске над воротами красовались золотые иероглифы благожелательной надписи.

Через распахнутые настежь ворота были видны ярко освещенные внутренние дворики, оттуда доносились неясные звуки. Перед воротами собралось много народу. Все стояли молча, засунув руки в рукава, и, казалось, чего-то ждали. Бойкая на язык третья сестра спросила стоявшего рядом:

– Дядюшка, кашу раздавать будут, что ли?

Тот уклончиво покачал головой.

– Кашу будут давать только после праздника лаба⁵⁴, барышня, – послышался голос сзади.

– А если каши не будет, чего вы тогда стоите? – обернулась Линди.

– Разговорную драму играть будут, – продолжал тот же голос. – Говорят, знаменитый актер из Цзинани приехал.

Сестра вознамерилась было сказать что-то еще, но матушка ее ущипнула.

Наконец из ворот Фушэнтана вышли четверо молодых. Они несли длинные бамбуковые шесты с какими-то железяками наверху. Вырывавшиеся из этих штукovin слепящие языки пламени осветили все пространство перед воротами. Стало светло, как днем. Нет, даже светлее. С полуразрушенной церковной колокольни испуганно вспорхнули устроившиеся там дикие голуби и, громко воркуя, улетели во тьму.

– Газовые фонари! – крикнул кто-то из толпы.

Так мы узнали, что кроме масляных ламп, керосиновых ламп и фонарей со светлячками есть еще и газовые фонари и светят они ослепительно-ярко. Четверо смуглых молодых выжили перед воротами Фушэнтана четыремя темными колоннами, образовав четырехугольник. Из ворот вышли еще несколько человек, они несли свернутую циновку из тростника. Пройдя в центр обозначенного четыремя осветителями пространства, они бросили циновку на землю, развязали веревки, и она раскатилась. Потом нагнулись, потянули за углы и стали быстро перебирать черными волосатыми ногами. Ноги мелькали так быстро, а газовые фонари

⁵⁴ Праздник лаба – восьмой день двенадцатого лунного месяца. В древности это был праздник нового урожая, а после распространения буддизма в Китае – празднование просветления Будды Гаутамы. Непременная часть праздника – каша из смеси риса, бобов, фиников и орехов.

светили так ярко, что в глазах двоилось и казалось, что у каждого из этих бегущих по четыре ноги, а то и больше, и между ногами нечто вроде сверкающей паутины. От этого рябило в глазах и создавалось впечатление, что в паутине барахтаются маленькие жучки. Расстелив циновку, актеры выпрямились, повернулись к зрителям и застыли в театральной позе. Лица размалеваны разными цветами, будто крашеные куски меха. Тут и леопард, и пятнистый олень, и рысь, и полосатый барсук – любитель таскать съестные подношения из храмов. Быстро перебирая ногами – два шага вперед, шаг назад – и пританцовывая, они скрылись за воротами.

Под шипение газа мы молча ждали. Ждала и тростниковая циновка. Четверо молодцев с шестью превратились в черные каменные статуи. Неожиданно ударил гонг, и все вытянули шеи, чтобы разглядеть, что делается внутри, за воротами, но мешал белый экран⁵⁵ с большим иероглифом «счастье», взятым в рамку. Казалось, прошла целая вечность, и вот наконец на сцене появилась физиономия Сыма Тина, старшего хозяина Фушэнтана. Бывший голова Даланя, а теперь глава Комитета поддержки, он, держа в руках гонг, покрытый вмятинами от колотушки, и будто нехотя ударяя в него, сделал круг на циновке. Потом вышел на середину и обратился к нам:

– Земляки! Деды и бабки, дядья и тетки, братья и сестры, сыновья и дочери! Мой младший брат добился успеха – разрушил железнодорожный мост. Эта добрая весть разнеслась далеко по округе, поздравить нас прибыли многочисленные родственники, они поднесли более двадцати благопожелательных свитков. Чтобы отметить эту выдающуюся победу, брат пригласил труппу актеров. Он и сам выйдет на сцену и сыграет роль в новой пьесе для просвещения сельских жителей. Давайте даже в праздник фонарей не забывать о героической войне Соппротивления! Не позволим япошкам топтать нашу родную землю! Сын Китая Сыма Тин больше не глава их Комитета поддержки! Земляки, мы, китайцы, не будем служить этим сукиным детям японцам!

Он произнес все это гладко и с выражением, поклонился зрителям и бегом вернулся к воротам, откуда уже выходили музыканты с хуцинем⁵⁶, бамбуковой флейтой и пипа⁵⁷, таща за собой табуретки.

Музыканты расположились у края циновки и стали настраивать инструменты под две ноты, которые давал флейтист. Высокие звуки снижались, низкие взмывали вверх. Голоса хуциня, пипа и флейты сплелись воедино, прозвучали вместе и смолкли. Вскоре появились ударные: барабаны, гонг, большие и малые цимбалы. И эти музыканты несли табуретки; усевшись напротив струнных, они тоже провели небольшую разминку. Наконец несколько раз монотонно ударил гонг, затем пронзительно рассыпалась барабанная дробь, следом вступили вместе хуцинь, пипа и флейта, свиваясь в мелодию, которая словно опутала нам ноги так, что и шагу не ступить, так оплела души, что и мысли в голову не шли. Мелодия – то нежная и печальная, то журчащая, будто что-то нашептывающая, – что за жанр такой? Так это же дунбэйский маоцян, в народе его еще называют женой, привязанной к колу⁵⁸. Как говорится, когда исполняют маоцян, в голове смешиваются три начала и пять принципов;⁵⁹ правда и то, что, когда маоцян слушаешь, отца с матерью забываешь. Подчиняясь этому ритму, пришли в движение ноги зрителей, стали подрагивать губы, затрепетали сердца. Напряжение достигло крайней точки, как стрела в натянутой тетиве. Пять, четыре, три, два, один – и вот зазвучал нежный голос. Устремившись вверх, он поднимался все выше и выше, пронзая небеса. «Я юная красавица, скромная, прелестная...» В воздухе еще дрожала эта пропетая на самой высокой

⁵⁵ Экран при входе – защита от злых духов, которые, по традиционным представлениям, могут двигаться только по прямой.

⁵⁶ Хуцинь – струнный смычковый инструмент, род скрипки.

⁵⁷ Пипа – четырехструнный щипковый инструмент типа лютни.

⁵⁸ Имеются в виду истошные вопли наказуемых в ходе жестокого средневекового наказания для неверных жен.

⁵⁹ Три начала и пять принципов – подчинение подданного государю, подчинение жены мужу и подчинение сына отцу; гуманность, справедливость, вежливость, разумность и верность.

ноте фраза, а в воротах появилась Чжаоди. С бархатным красным цветком в волосах, в синей куртке с запахом на сторону, широких шароварах, спускавшихся на синие вышитые туфли, с бамбуковой корзинкой в левой руке и с вальком в правой, она просеменила мелкими шажками, скользнув стружкой воды в ярко освещенное фонарями пространство, и застыла, приняв театральную позу. И брови-то уже у нее не брови, а полумесяцы на краю небес, и взгляд, которым она обвела всех нас, словно орошал живительной влагой; тонкий нос с горбинкой, пухлые губы краснее вишни в мае. Наступила тишина, и сдерживаемое напряжение множества неморгающих глаз, множества замерших сердец прорвалось в громких возгласах одобрения. Тело сестры пришло в движение, она пригнулась и обежала вокруг сцены: талия тонкая и гибкая, как весенняя ива над прудом, шаг легкий, словно скольжение змейки по колосьям пшеницы. Несмотря на безветрие, холод в тот вечер стоял страшный, а сестра была одета по-летнему. Матушка с изумлением отметила, как развилась ее фигура после съеденного угря. Два бугорка плоти на груди созрели с пекинскую грушу величиной и обрели правильную, красивую форму, продолжая славную традицию женщин из семьи Шангуань, которые всегда отличались пышным телом, а особенно большой грудью. Сестра сделала круг, но дышала ровно, выражение лица не изменилось. После паузы она пропела вторую строчку: «...стала женой храбреца Сыма Ку...» Пропела ровно, не взяв верхней ноты в конце, но эффект на слушателей произвела сильнейший. В толпе переглядывались и перешептывались: «Откуда эта девушка?» – «Из семьи Шангуань». – «А разве дочка из семьи Шангуань не сбежала с отрядом стрелков?» – «Так это вторая!» – «И когда она успела стать наложницей Сыма Ку?»

– Это же театральное представление, мать вашу! – громко вступилась за сестру Линди, ее поддержал кое-кто из зрителей. – Заткнитесь же, наконец, так вас и этак!

На какое-то время шепот стих.

«Мой муж – мосты разрушать мастак, – пела Чжаоди, – облил вином и поджег мост через Цзяолунхэ. В пятый день пятого месяца, на праздник драконовых лодок⁶⁰ взметнулось синее пламя на тысячи чжанов, япошек так подпекло, что отцов и матерей поминали. Тяжелую рану на заднем месте муж мой тогда получил. Ночью вчера мороз и ветер, окрест все белым-бело, муж мой повел бойцов своих на железнодорожный мост...» Тут она изобразила, что раскалывает лед и стирает в ледяной воде белье, трясаясь всем телом, как высохший листок на верхушке дерева в зимнюю пору. Захваченные представлением зрители громко выражали свой восторг, а кое-кто даже смахивал рукавом слезу. Под грохот вступивших цимбал и барабанов сестра поднялась и стала вглядываться вдаль: «Слышу, как дрожат от взрывов западные небеса, вижу, вздымаются во мгле ночной пламени языки. Значит, муж мой одержал победу и разрушил мост, и уже на пути к Яньло-вану⁶¹ воинский эшелон. Мне пора домой возвращаться и подогреть вина, курицу ему зарезать, горшок супа сварить...» Тут сестра будто бы подбирает одежды и начинает забираться по склону дамбы, напевая при этом: «Поднимаю голову – а передо мной четверо шакалов и волков...» И тут же из ворот вылетает, выделявая кульбиты, четверка тех размалеванных быстроногих, что принесли и расстелили циновку. Они окружают сестру и тянутся к ней лапами, словно четверо котов, готовых схватить маленькую мышку. Раскрашенный под барсука гнусным голосом запевает: «Я капитан Камэда, шел красотку поискать. Мне давно говорили, в Дунбэе красавиц пруд пруди, а тут поднимаю голову и вижу прелестное личико прямо перед собой. Пойдем, девочка, пойдем с великим тайкуном⁶², ждет тебя счастье и улада...» «Японские черти» набрасываются на застывшую, как палка, сестру, подхватывают

⁶⁰ Праздник драконовых лодок приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю, это традиционное празднование начала лета. Своим названием праздник обязан проводимому в этот день состязанию в гребле на лодках, изображающих драконов.

⁶¹ Яньло-ван – владыка царства мертвых.

⁶² Тайкун – в средневековой Японии почтительное обращение к сегунам. Сотрудничавшие с японцами китайцы обращались так к офицерам.

ее на руки и, подняв высоко над головой, обносят вокруг циновки. Барабаны и цимбалы выбивают бешеный ритм, словно налетел ураган. Переполненные эмоциями зрители устремляются к сцене. Впереди с криком «Опустите мою дочь!» бежит матушка. Я в своем «кармане» встал тогда на ноги – подобное чувство я пережил позже, когда впервые проехал верхом. Вытянув вперед руки, подобно коршуну, когтящему зайца, матушка норовила выцарапать глаза «капитану Камэда». Тот с воплем ужаса отскочил от сестры, остальные трое тоже убрали руки, и она грохнулась на циновку. Троица ретировалась, оставив «капитана Камэда» одного, а матушка взгромодилась ему на спину и принялась драть за волосы.

– Мама, мама! – пыталась оттащить ее сестра. – Это же театральное представление, это же понарошку!

Подоспевшие на помощь с трудом оторвали матушку от «капитана Камэда». С расцарапанным в кровь лицом он во всю прыть рванулся в ворота.

– Пусть только кто-нибудь посмеет обидеть мою дочку, пусть только попробует! – едва переводя дыхание, кричала распалившаяся матушка.

– Мама, такая хорошая пьеса, а ты всё испортила! – сердито бросила вторая сестра.

– Чжаоди, послушай, что мать тебе скажет. Пойдем-ка домой, не нам такие пьесы играть. – И потянула ее за руку, но расстроенная сестра вырвалась.

– Мама, перестань срамить меня!

– Это ты меня срамишь! Пойдем давай! – настаивала матушка.

– Не пойду, – заявила сестра.

В этот момент на сцене появился Сыма Ку. Он громко распевал: «Вот я разрушил мост и возвращаюсь на коне домой...» В ботинках для верховой езды и в фуражке, с плетью, он восседал на воображаемом скакуне, притопывал ногами и продвигался вперед, то сгибаясь, то выпрямляясь, с несуществующими поводьями в руке, словно скакал во весь опор. Небеса сотрясались от грохота барабанов и цимбал, в лад звучали струнные и духовые; среди них выделялась флейта, звуки которой, как говорится, пронизывали тучи и разрывали шелк. Все застыли ни живы ни мертвы, но не от страха, а под воздействием этих звуков. Жесткое и холодное, как сталь, лицо Сыма Ку казалось донельзя суровым – ни следа лукавства или несерьезности. «Вдруг слышу на дамбе какой-то переполох, даю плетью скакуну, чтобы нес туда быстрее...» При этих словах струны хуциня имитируют конское ржание. «Сердце мое горит огнем, конь мой летит как ветер, его полшага – шаг других, два шага трем равны...» Ритм барабанов и цимбал нарастает, притопывая движется всадник, потом следует «переворот ястреба», «раскладка ног в воздухе», «задыхающийся буйвол», «лев, катящий узорный шар» – все свое умение демонстрирует на циновке Сыма Ку, и трудно даже поверить, что на зад у него больших пластырь в полциня весом.

Чжаоди торопливо выпихивает со сцены матушку. Та, продолжая ворчать, неохотно возвращается на место. Трое «японцев», изогнув по-кошачьи спины, проникают в центр сцены, чтобы снова поднять сестру на руки. «Капитана Камэда» и след простыл, пришлось им справляться без него: двое взяли за сестру спереди, а один – за ноги. Зажатая между ног сестры размалеванная голова выглядела настолько комично, что зрители начали тихонько хихикать. Актер морщил нос, закатывал глаза, и смех усилился. А когда он стал делать это еще энергичнее, раздались взрывы хохота. На лице Сыма Ку отразилось явное неудовольствие, но он запел дальше: «Вдруг слышу шум толпы. Глядь – японские солдаты опять насильничать вздумали. Не раздумывая бросаюсь на них – хватаю эту кость собачью. Руки прочь!» С этим криком Сыма Ку вцепляется в «японца», голова которого зажата между ног сестры. За этим следует каскад приемов боевых искусств, – правда, изначально предполагалось, что будет четверо против одного, теперь же Сыма Ку противостояло лишь трое. В этом «бою» он и «японцев» одолел, и «жену» выручил. «Японцы» упали на колени, а Сыма Ку, ведя Чжаоди за руку, под

радостную музыку вернулся за ворота. Тут же ожили четыре темные фигуры с газовыми фонарями и бегом унесли их. Перед нашими глазами непроглядной стеной встала тьма.

На другой день на рассвете деревню окружили настоящие японцы. Проснулись мы от винтовочной и орудийной пальбы и топота копыт. Схватив меня в охапку, матушка потащила сестер к подвалу с турнепсом. Мы все попрыгали туда и какое-то время пробирались ползком в темноте. Было сыро и холодно, потом стало попросторнее, и матушка зажгла масляную лампу. В ее тусклом свете мы уселись на циновку, прислушиваясь к слабым звукам, доносящимся сверху.

Не знаю, сколько мы так просидели. Вдруг в темноте прохода послышалось тяжелое дыхание. Матушка схватила кузнечные клещи и быстро задула лампу. Подвал погрузился в крошечную тьму. Я заплакал, и матушка сунула мне грудь. Молоко было холоднющее, вязкое и отдавало горько-соленым.

Дыхание приближалось, матушка уже занесла клещи. В это время раздался изменившийся голос второй сестры:

– Мама, не бей, это я...

Матушка, словно обессилев, опустила руки.

– Ну, Чжаоди, до смерти напугала, – облегченно выдохнула она.

– Мама, зажги лампу, – попросила сестра, – у меня тут еще кое-кто.

Хоть и не сразу, лампа загорелась, едва осветив нашу пещеру. Вторая сестра, в грязи с головы до ног, с кровавой царапиной на щеке, держала в руках какой-то сверток.

– Это еще что? – удивилась матушка.

Рот Чжаоди скривился, и по измазанному лицу потекли светлые слезы.

– Мамочка, – сдавленным голосом произнесла она, – это сын его третьей наложницы.

Матушка как онемела, а потом взорвалась:

– Отнеси туда, где взяла!

Сестра подползла к ней на коленях и глянула снизу вверх:

– Матушка, помилосердствуйте, у него всю семью вырезали, он единственный, кто остался...

Отогнув уголок свертка, матушка открыла смуглое и тощее личико последнего отпрыска рода Сыма. Малыш сладко спал, ровно дыша и сложив розовые губки, словно сосал грудь. Меня переполнила ненависть к этому поганцу. Я выплюнул сосок и заревел, но матушка наладила его обратно, еще более холодный и горький, чем прежде.

– Матушка, так вы согласны оставить его? – спросила сестра.

Матушка сидела с закрытыми глазами и не проронила ни звука.

Вторая сестра сунула ребенка в руки третьей, бухнулась на колени и с плачем стала отбивать земные поклоны:

– Матушка, я по жизни его женщина, а после смерти буду приходить к нему как дух! Спасите этого ребенка, дочка по гроб не забудет вашей доброты!

Потом поднялась и стала протискиваться к выходу.

– Куда ты? – выдохнула матушка, пытаясь остановить ее.

– Мама, он ранен в ногу, прячется на мельнице под жерновом. Мне к нему надо.

Снаружи донесся топот лошадей и винтовочные выстрелы. Матушка загородила выход из подвала:

– Мать на всё согласна, но на смерть не пушу.

– Мама, у него кровь течет не переставая, без меня он умрет. А если он умрет, зачем твоей дочери жить? Ну отпусти меня, мама...

Матушка взвыла без слез, но тут же зажала себе рот.

– Матушка, ну хотите, опять на колени встану?

Чжаоди снова отбила земной поклон и застыла на миг, уткнувшись лицом в ноги матери. Потом оторвалась от нее и, согнувшись, стала пробираться к выходу.

Глава 14

Головы девятнадцати членов семьи Сыма провисели на деревянной раме за воротами Фушэнтана до самого праздника Цинмин⁶³, когда стало по-весеннему тепло и начали распускаться цветы. Рама была сколочена из пяти толстых еловых стволов и по форме напоминала качели. Головы свешивались с нее, прикрученные стальной проволокой. Хотя плоть уже начисто склевали вороны, воробьи и совы, можно было без труда узнать жену Сыма Тина, его двух дурачков-сыновей, первую, вторую и третью жен Сыма Ку, девятерых детей, которых они втроем нарожали, а также гостивших в доме Сыма отца, мать и двух младших братьев третьей жены.

Деревня после нагрянувшей беды обезлюдела, а те, кто уцелел, походили на призраков. Днем все отсиживались по домам и осмеливались выходить лишь с наступлением темноты.

Вторая сестра как ушла, так и не появлялась, и от нее не было никаких вестей. С оставленным ею ребенком была одна морока. Чтобы он не умер с голоду, когда мы прятались во мраке подземного прохода, матушке пришлось кормить его грудью. Разинув большущий рот и выпучив глаза, он жадно сосал грудь, которая должна была принадлежать только мне. Съесть он мог на удивление много и, высосав груди подчистую, так, что они повисали пустыми кожаными мешками, орал, требуя еще. Орал что твоя ворона, как жаба, как сова. А выражение лица у него было как у волка, как у одичавшей собаки, как у дикого кролика. Он стал моим заклятым врагом, и мир был тесен для нас двоих. Когда он овладевал матушкиной грудью, я ревел не переставая; когда же я пытался вернуть ее себе, в непрерывном крике заходилась он. Орал он, выпучив глаза, а глаза у него были как у ящерицы. Черт бы побрал эту Чжаоди! Надо же было принести в дом это ящерицыно отродье!

От нашего тиранства лицо матушки отекло и побледнело, и мне чудилось, что на теле у нее повылезало множество бледно-желтых ростков, как на турнепсе, пролежавшем в нашем подвале всю долгую зиму. Первые появились на груди, и я ощутил сладковатый привкус турнепса в молоке, которого, надо сказать, становилось все меньше и меньше. А ты, пашенок из семьи Сыма, неужто не уловил этот жуткий запах? Тем, что твое, нужно дорожить, но мне было уже не до этого. Не высосу я – высосет он. Вы иссохли, мои драгоценные тыквочки, и кожа на вас сморщилась, маленькие голубочки, фарфоровые вазочки; кровеносные сосуды на вас посинели, соски почернели и бессильно поникли.

Опасаясь за мою жизнь и за жизнь этого ублюдка, матушка рискнула вывести сестер из подвала к свету, к людям. Вся пшеница, что хранилась у нас в восточной пристройке, исчезла. Исчезли и ослиха с муленком. От горшков, чашек и другой посуды остались лишь осколки, даже Гуаньинь стояла в алтаре безголовым трупом. Пропала лисья шуба, которую матушка забыла взять с собой в подвал, и наши с сестренкой рысьи курточки. Шубы сестер остались при них – они никогда их не снимали, – но мех на них вылез, образовались проплешины, и сестры смотрелись как облезлые зверьки.

Урожденная Люй лежала у жернова в западной пристройке. Она сгрызла все двадцать турнепсин, что оставила ей матушка, перед тем как спуститься в подвал, и наделала рядом большую кучу – твердую, как галька. Горсть этих «камешков» она швырнула в матушку, когда та зашла проведать ее. Кожа на лице у старухи походила на мерзлый турнепс, спутанные седые волосы торчали во все стороны, а глаза мерцали зеленым светом. Покачав головой, матушка положила перед ней еще несколько турнепсин. Все, что осталось нам после японцев – а может, и китайцев, – это полподвала ноздреватого турнепса, уже покрывшегося желтыми ростками. Совершенно отчаявшись, матушка отыскала один чудом уцелевший горшок, в котором Шан-

⁶³ Цинмин – день поминовения усопших.

гуань Люй хранила свой драгоценный мышьяк, и насыпала этого красного порошка в суп из турнепса. Когда порошок растворился, на поверхности появились разноцветные маслянистые разводы, вокруг разнесся отвратительный запах. Она помешала суп половником, зачерпнула этого варева, чуть наклонила половник, и мутная струйка с журчанием потекла через его шербатый край в котел. Уголки губ у матушки странно подергивались.

– Линди, отнеси бабке своей, – велела она, налив немного в треснувшую чашку.

– Мама, ты туда яду добавила? – охнула третья сестра. Матушка кивнула. – Хочешь отравить ее?

– Всем нам не жить, – проговорила матушка.

Сестры хором разревелись, заплакала даже слепенькая восьмая сестренка. Больше похожий на гудение пчелы, ее плач был еле слышен, и большие черные ничего не видящие глазки этого самого несчастного, самого жалкого существа наполнились слезами.

– Мамочка, мы не хотим умирать... – молили сестры.

Даже я подхватил:

– Ма... Ма...

– Бедные дети!.. – выдохнула матушка и разрыдалась.

Плакала она долго, а вместе с ней плакали и мы. Потом звучно высморкалась, взяла ту треснувшую чашку и выбросила во двор вместе с содержимым.

– Не помрем! – заявила матушка. – Чего еще бояться, коли смерть нестрашна? – С этими словами она приосанилась и повела нас со двора искать съестное.

Мы оказались первыми, кто высунул нос на улицу. Увидев головы семьи Сыма, сестры сначала испугались. Но через несколько дней это зрелище стало привычным. Я видел, как матушка, держа маленького ублюдка Сыма на руках, прошептала, указывая на головы:

– Запомни это хорошенько, бедолага.

Матушка с сестрами отправились за околицу, в проснувшиеся уже поля. Там они накопали белых корешков трав, чтобы промыть, растолочь и сварить из них суп. Умница третья сестра наткнулась на норку полевок и не только наловила мышей, мясо которых удивительно вкусное, но добралась и до их припасов. Еще сестры сплели из конопляной бечевки сеть и натащали из пруда почерневшей и иссохшей после суровой зимы рыбы и креветок. Как-то матушка попробовала сунуть мне ложку рыбного супа. Я решительно выплюнул его и ударился в рев. Тогда она сунула ложку этому паршивцу Сыма, и тот запросто проглотил содержимое. Сlopал он и вторую ложку.

– Вот и славно, – обрадовалась матушка. – При всех своих несчастьях есть ты все же научился. – И повернулась ко мне: – А ты что? Тебя тоже надо отлучать от груди. – В ужасе я ухватился за ее грудь обеими руками.

Вслед за нами стали возвращаться к жизни и остальные обитатели деревни. Это обратилось в невиданное бедствие для полевок, а за ними пришла очередь диких кроликов, рыбы, черепах, креветок, раков, змей и лягушек. Во всей округе из живности остались лишь ядовитые жабы да птицы на крыле. И все равно, если бы вовремя не разрослась трава, половина сельчан умерли бы с голоду. Прошел праздник Цинмин, стали опадать яркие лепестки цветков персика, в полях поднимался пар, земля оживала и ждала сеятеля. Но скотины не было, не было и семян. Когда в болотных вымоинах, в круглом пруду и на речном мелководье появились жирные головастики, жители стали покидать деревню. В четвертом месяце ушли почти все, но, когда наступил пятый, большинство вернулись в родные места. «Здесь хоть дикие травы и корешки не дадут помереть с голоду, – сказал почтенный Фань Сань. – В других местах и того нет». К шестому месяцу появилось множество пришлых. Они спали в церкви, во дворах дальних покоев семьи Сыма, на заброшенных мельницах. Словно взбесившиеся от голода псы, они воровали у нас еду. В конце концов почтенный Фань Сань собрал деревенских мужчин, чтобы организовать отпор чужакам. У наших во главе встал Фань Сань, у пришлых тоже

появился вожак – молодой большеглазый парень с густыми бровями. Умелый птицелов, он всегда ходил с парой рогаток за поясом и мешком через плечо, полным шариков из глины. Третья сестра своими глазами видела, как лихо у него все получается. Заметив пару милующихся в воздухе куропаток, он вытащил рогатку и пульнул, почти не целясь, будто походя. Одна птица тут же упала с пробитой головой прямо к ногам сестры. Другая испуганно взмыла ввысь, но и ее настиг шарик, и она тоже свалилась на землю. Подняв ее, чужак подошел к третьей сестре. Он смотрел на нее в упор, она тоже уставилась на него ненавидящим взглядом. Эту ненависть всколыхнул в нас почтенный Фань Сань. Он уже приходил и агитировал за изгнание пришлых. Но чужак не только не забрал лежавшую у ног сестры куропатку, но и бросил туда же ту, что держал в руках. И, ни слова не говоря, пошел прочь.

Третья сестра принесла куропаток домой, накормила матушку мясом, сестер и маленького паршивца – бульоном, а Шангуань Люй отдала кости, которые та сгрызла с громким хрустом. То, что куропаток поднес чужак, она сохранила в тайне. Благодаря куропаткам насытился и я, потому что матушкино молоко вскоре обрело чудесный вкус. Матушка несколько раз пробовала накормить мальчика Сыма, пока я спал, но тот не брал грудь ни в какую. Так и рос на травах, корешках и на коре деревьев, причем поедая всё в таких количествах, что только подавай.

– Ну чистый осленок! – изумлялась матушка. – Видать, судьба ему такая – траву уминать с самого рождения.

Даже какашки у него напоминали ослиные. Более того: матушка считала, что у него два желудка и что он может жевать жвачку. Бывало, отрыгнет ком травы и пережевывает, зажавшись от наслаждения. В уголках рта у него выступала слюна. Прожевав, он напрягал шею и шумно проглатывал.

С пришлыми началась настоящая война. Сначала урезонивать их отправился почтенный Фань Сань, он вежливо предложил им убраться. Пришлые выдвинули своего представителя, того самого парня, что поднес третьей сестре пару куропаток, умелого птицелова по прозвищу Пичуга Хань. Уперев руки в рогатки на поясе, тот приводил обоснованные доводы и ни за что не хотел уступать.

– На месте Гаоми испокон веку был пустырь, – говорил он, – и никто здесь не жил, тут все пришлые. Вы вот живете, а мы почему не можем?

Слово за слово, началась перебранка, страсти закипели, все стали пихаться и задирали друг друга. Один деревенский сумасброд, по прозвищу Шестой Чахоточный, выскочил из-за спины Фань Саня с железкой в руках, размахнулся и огрел по голове пожилую мать Пичуги Ханя. У бедной женщины мозги вылетели наружу, и дух вон. Взыв, как раненый волк, Пичуга выхватил свои рогатки, и два глиняных шарика оставили Шестого Чахоточного без глаз. В начавшейся свалке деревенские мало-помалу стали брать верх. Пичуга Хань взвалил на плечи тело матери, пришлые, огрызаясь, начали отступать, пока не дошли до песчаной гряды Дашалян к западу от деревни. Там Пичуга Хань опустил мать на землю, вытащил рогатки, зарядил и нацелил на Фань Саня:

– Оставил бы ты свои задумки известить нас под корень, начальник. Загнанный в угол заяц и тот кусается! – Он еще не договорил, когда одна из пулек со свистом рассекла воздух и ударила Фань Саня в ухо. – Оставляю тебе жизнь только потому, что все мы китайцы, – добавил Пичуга.

Держась за рассеченное пополам левое ухо, Фань Сань без звука отступил.

Чтобы закрепить за собой землю, пришлые возвели на песчаной гряде несколько дюжин навесов. Через десяток лет там уже образовалась деревушка. Прошло еще несколько десятков лет, и на этом месте уже стоял процветающий городок, который почти слился с Даланем, их разделяло лишь озерцо с узкой дорожкой по берегу. В девяностых Далань разросся из городка в настоящий город, его западным пригородом стал Шалянцзычжэнь. К тому времени там уже развернул свою деятельность крупнейший в Азии птицеводческий центр «Дунфан»,

где можно было приобрести множество редких птиц, которых не часто встретишь даже в зоопарках. Торговля редкими видами птиц велась, конечно, полулегально. Основателем Центра стал сын Пичуги – Попугай Хань, который разбогател на разведении, селекции и выращивании новых видов попугаев. С помощью своей жены Гэн Ляньлянь он стал большим человеком; потом его арестовали и посадили.

Пичуга Хань похоронил мать на песчаной гряде и прошелся пару раз по главной улице с рогатками в руках, забористо ругаясь на своем плохо понятном для местных диалекте. Он хотел показать деревенским: мол, теперь я один как перст, убью одного – и мы при своих, убью двоих – один за мной. Будем, мол, надеяться, что теперь заживем в мире и согласии. Деревенские прекрасно помнили, как он раскроил ухо Фань Саню, как остался без глаз Шестой Чахоточный, так что высовываться никто не захотел. Как бы то ни было, смерть матери Пичуги не прошла незамеченной.

С тех пор пришлые с деревенскими замирились, хотя зуб друг на друга имели. Почти каждый день третья сестра встречалась с Пичугой на том самом месте, где он впервые поднес ей куропаток. Сначала эти встречи были вроде бы случайными, потом пошли свиданки в полях, откуда они не уходили, не дождавшись друг друга. Третья сестра в том месте всю траву вытоптала. Пичуга Хань каждый раз бросал ей птиц и, ни слова не говоря, удалялся. То пару горлиц принесет, то фазана, а однажды положил к ее ногам большую птицу, мясистую, цзиней на тридцать весом. Третья сестра взвалила ее на спину и еле дотащила до дому. Даже многоопытный Фань Сань не мог сказать, как эта птица прозывается. Я же узнал – опять-таки через матушкино молоко, – что ее мясо бесподобно на вкус.

Фань Сань на правах близкого знакомого семьи неоднократно обращал матушкино внимание на отношения третьей сестры и Пичуги Ханя. Получалось это у него как-то оскорбительно, с неким душком:

– Твоя третья дочка, племянница, с этим птицеловом... Ай-яй-яй, как это супротив заведенных приличий, все в деревне не знают, куда и глаза девать! – сказал как-то он.

– Так она еще девчонка! – возразила матушка.

– У вас в семье дочери не такие, как у других, – настаивал Фань Сань.

– Пусть в ад катятся все эти сплетники! – отшила его матушка.

Отшить-то она отшила, но с третьей сестрой, когда та возвратилась с еще трепыхавшимся красноголовым журавлем, завела серьезный разговор.

– Линди, мы не можем больше есть чью-то птицу, – заявила она.

– Почему это? – уставилась на нее сестра. – Для него поймать птицу легче, чем блоху.

– Легко – нелегко, но ловит-то их он. Разве не знаешь: чей хлеб ешь, под ту дудку и плясешь?

– Придет время, верну я ему долг.

– Чем, интересно, ты его вернешь?

– Выйду за него.

Тут голос матушки посуровел:

– Линди, из-за твоих сестер наша семья уже настолько потеряла лицо, что дальше некуда. На этот раз будет по-моему, какие бы ты речи ни вела.

– Хорошо тебе говорить, мама! – вспыхнула сестра. – А ведь если бы не Пичуга, разве он так выглядел бы? – И она указала на меня. – И он тоже, – повернулась она к малышу Сыма.

Глянув на мое гладкое, пухлое лицо и на краснощекого мальчика Сыма, матушка не смогла ничего возразить. Но потом все же заключила:

– Линди, хоть что говори, но больше мы его птиц есть не будем.

На следующий день сестра вернулась с целой связкой диких голубей через плечо и, будто назло, бросила их к ее ногам.

Незаметно наступил восьмой месяц, появились стаи диких гусей. Они летели издалека, с севера, и садились в болотах к юго-западу от деревни. С крюками, сетями, действуя другими дедовскими способами, деревенские и пришлые устроили славную гусиную охоту. Поначалу добыча была богатой, и по всей деревне – и на главной улице, и в проулках – летал гусиный пух. Но вскоре гуси научились гнездиться в дальних топях, куда и лисы добирались с трудом, и все старания и уловки людей были безрезультатны. Только третья сестра что ни день возвращалась домой с гусем – битым, а то и с живым. Бес его знает, как только Пичуга умудрялся ловить их.

Матушке оставалось лишь смириться с суровой реальностью. Потому что не будь у нас подношений Пичуги Ханя, мы, как и большинство жителей деревни, уже страдали бы от недоедания, опухли бы и задыхались, и глаза у нас то потухали бы, то загорались бесовским огнем. А то, что мы ели птиц Пичуги, означало лишь, что к нашим зятям кроме предводителя отряда стрелков и мастера разрушать мосты добавился еще один – умелый птицелов.

Утром шестого дня восьмого месяца третья сестра опять отправилась на обычное место встречи за птицей, а мы остались дома ждать. Всем уже приелась отдававшая травой гусятина, мы надеялись, что Пичуга принесет что-то другое. О том, что третья сестра еще раз притащит огромную птицу с превосходным мясом, мы и мечтать не смели, а вот пара лесных голубей, перепелов, горлиц, диких уток – это же возможно, верно?

Третья сестра вернулась с пустыми руками, зареванная, с покрасневшими, как персик, глазами. Когда обеспокоенная матушка спросила, в чем дело, сестра выдавила из себя:

– Увели его люди в черном, с винтовками и на велосипедах...

Вместе с ним угнали еще с десятков молодых, здоровых парней. Их связали вместе, как цикад. Пичуга Хань сопротивлялся изо всех сил, на руках у него вздулись мускулы, большие, как воздушные шары. Солдаты били его прикладами по заду и пояснице, пинали ногами.

– За что?! – громко вопрошал он, и его покрасневшие глаза, казалось, готовы были брызнуть то ли кровью, то ли огнем.

Командир солдатни схватил пригоршню грязи и шмякнул Пичуге в лицо, залепив глаза. Тот взревел, как загнанный зверь.

Третья сестра все время шла за ними следом, потом остановилась и позвала:

– Пичуга Хань... – Чуть постояв, снова догнала: – Пичуга Хань... – Солдаты уставились на нее с мерзкими ухмылками. – Пичуга Хань, я буду ждать тебя, – вымолвила она наконец.

– Шла бы ты знаешь куда! – заорал Пичуга. – Никто тебя не просит ждать!

В тот день, стоя перед горшком, в котором варился суп из диких трав – такой жидкий, что в нем можно было увидеть собственное отражение, – мы, в том числе и матушка, поняли, насколько важен стал для нас Пичуга.

Третья сестра проплакала два дня и две ночи, не поднимаясь с кана. Матушка и так и сяк пыталась успокоить ее, но тщетно.

На третий день после ареста Пичуги сестра спустилась с кана и босиком, в кофте, бесстыдно распахнутой на груди, вышла во двор. Взорвавшись на гранатовое дерево, она ухватила за вершину и упруго выгнула ее, как лук. Матушка бросилась стаскивать ее, но сестра ловко перепрыгнула на утун, с утуна на большую катальпу⁶⁴, а оттуда перелетела на конек нашей крытой соломой крыши. Продельвала она все это с невероятным изяществом, будто у нее крылья выросли. Усевшись на конек верхом, она подняла глаза к небу, и на отливающем золотом лице заиграла улыбка. Матушка стояла во дворе, задрав голову, и жалобно умоляла:

– Линди, доченька милая, спускайся, никогда больше не буду вмешиваться в твои дела, делай как знаешь...

Третья сестра никак не реагировала, словно стала птицей и перестала понимать язык людей. Матушка кликнула во двор четвертую сестру, пятую сестру, шестую сестру, седьмую

⁶⁴ Катальпа (трубное дерево) – дерево с крупными сердцевидными листьями и цветками, достигает 16 м в высоту.

сестру, восьмую сестру и даже маленького Сыма и заставила звать сидевшую на крыше третью. Сестры безостановочно молили ее слезть, но она не обращала ни на кого внимания. Вместо этого опустила голову и стала покусывать плечо – так птицы приглаживают перья. Казалось, голова у нее на шарнирах, и она вертела ею, запросто доставая до плеча, а наклонив, могла дотянуться до своих маленьких грудок. Я ничуть не удивился бы, если бы она достала до попы или пяток. При желании ей ничего не стоило дотянуться губами до любой точки своего тела. Мне казалось, что, сидя на крыше, сестра по сути перешла в мир птиц: она и мыслила по-птичьи, и вела себя как птица, и выражение лица у нее было птичье. Думаю, не позови матушка Фань Саня с дюжиной крепких молодцев и не вызволи они сестру с крыши кровью черной собаки, у нее выросли бы чудесные крылья и она превратилась бы в прекрасную птицу: если не в феникса, то в павлина, а не в павлина, так в золотистого фазана. В какую бы птицу она ни оборотилась, она расправила бы крылья, взлетела высоко-высоко и отправилась бы на поиски своего Пичуги Ханя. Но закончилось все самым постыдным, отвратительным образом: почтенный Фань Сань велел Чжан Маолиню, ловкому коротышке по прозвищу Обезьяна, забраться на крышу с ведром крови черной собаки. Тот подобрался к третьей сестре сзади и окатил ее. Сестра вскочила, взмахнула руками, словно собираясь взлететь, но тут же скатилась с крыши и с глухим стуком шлепнулась на выложенную плитками дорожку. Из раны на голове – величиной с абрикос – беспрестанно шла кровь, сестра была без сознания. Рыдающая матушка сорвала пучок травы и приложила к ране, чтобы остановить кровь, потом с помощью четвертой и пятой сестер отмыла ее от собачьей крови и перенесла в дом, на кан. Когда сестра пришла в себя, уже сгустились сумерки.

– Линди, как ты себя чувствуешь? – с трудом сдерживая рыдания, спросила матушка.

Взглянув на нее, сестра вроде бы кивнула, а вроде и нет. Из глаз у нее ручьем потекли слезы.

– Бедная моя девочка, замучили тебя... – приговаривала матушка.

– В Японию его угнали, – бесстрастно молвила сестра. – И вернется лишь через восемнадцать лет. Поставила бы ты мне алтарь, мама. Ведь я – птица-оборотень.

Для матушки эти слова были как гром среди ясного неба. Обуреваемая самыми разными чувствами, она испуганно вглядывалась в лицо дочери, пытаясь обнаружить печать волшебных чар. Ей много чего хотелось сказать, но она не вымолвила ни слова.

За короткую историю дунбэйского Гаоми из-за несчастной любви или несложившегося брака шесть женщин стали оборотнями лисы, ежа, хорька, пшеничной змейки, барсука и летучей мыши. Они жили своей таинственной жизнью, вызывая у людей страх и благоговение. И вот теперь, когда воплощенный дух птицы появился в нашей собственной семье, матушку одолели мрачные, неотвязные предчувствия. Но она не смела и пикнуть, потому что помнила кровавые уроки прошлого. Лет десять тому назад Фан Цзиньчжи, молодую жену торговца ослами Юань Цзиньбяо, застали на кладбище на тайном свидании с молодым парнем. Мужчины из семьи Юань забили его до смерти. Фан Цзиньчжи тоже досталось изрядно, и она от стыда и горя выпила мышьяку. Когда это обнаружилось, ее спасли, залив в горло жидкого дерьма с мочой, чтобы вызвать рвоту. Придя в сознание, она сказала воплощением духа лисы и попросила поставить ей алтарь. Семья Юань отказалась. С тех пор у них то и дело загорались дрова и сено, ни с того ни сего билась посуда, у главы семьи из чайника вместе с вином выплеснулась ящерица, престарелая мать семейства расчихалась, и через ноздри у нее вылетели два передних зуба. А сварив целый котел пельменей, семейство обнаружило в нем множество дохлых жаб. Пришлось Юаням пойти на мировую. Они установили алтарь духа лисы и предоставили Фан Цзиньчжи тихие покои.

Птице-Оборотню тихие покои устроили в восточной пристройке. Матушка вместе с четвертой и пятой сестрами убрали всякую дребедень, оставленную Ша Юэляном, очистили стены от паутины и балки от пыли, вставили в окна новую бумагу. В углу возле северной стены поста-

вили столик для благовоний и зажгли три сандаловые палочки, оставшиеся с тех пор, когда урожденная Люй поклонялась бодхисатве Гуаньинь. Перед столиком следовало бы установить образ птицы-оборотня, но как она выглядит? Матушке пришлось обратиться к сестре за разъяснениями.

– Где нам взять святой образ духа, почтенная небожительница, чтобы установить перед столиком с благовониями и приносить ему жертвы?

Третья сестра сидела прямо, с закрытыми глазами и покрасневшимся лицом, словно наслаждаясь прекрасным любовным сновидением. Не смея торопить ее, матушка повторила просьбу с еще большим благоговением. Третья сестра раскрыла рот в протяжном зевке и, не поднимая век, произнесла – это было нечто среднее между птичьим щебетом и человеческой речью:

– Завтра будет.

Утром следующего дня появился какой-то нищий с орлиным носом и ястребиными глазами. В левой руке он держал посох из бамбука, чтобы отгонять собак, а в правой нес большую фарфоровую чашу с двумя щербинами на ободке. Он был грязный с головы до ног, будто катался в пыли и песке или прошел долгий путь в тысячи ли. Ни слова не говоря, он прошел прямо в главную комнату, свободно и без стеснения, будто вернулся к себе домой. Снял крышку с котла, налил чашку супа из диких трав и стал есть, с шумом втягивая его в рот. Поев, устроился на краю плиты и молча сидел, буравя матушкино лицо острыми, как ножи, глазами. Матушка встревожилась, но виду не подала и спокойно обратилась к нему:

– Мы, уважаемый гость, люди небогатые, и попотчевать вас особо нечем. Отведайте вот, коли не побрезгуете. – И протянула ему пучок диких трав.

Нищий отказался, облизав кровь на растрескавшихся губах, и произнес:

– Зять вашей семьи попросил меня доставить вам сюда пару вещей.

На первый взгляд при нем ничего не было. Видя его заношенную, драную одежку, сквозь которую проглядывала грубая, грязная кожа, покрытая сероватыми чешуйками, мы не могли взять в толк, где он прячет то, что принес.

– Это который зять? – уточнила озадаченная матушка.

– Вот уж не знаю, который он у вас в семье зять, – отвечал горбоносый. – Знаю лишь, что он немой, письму обучен и меч держать в руках умеет. Один раз жизнь мне спас, я ему тоже. Так что мы с ним квиты. Вот почему пару минут назад я еще раздумывал, отдавать ли вам эти две драгоценности. Если бы ты, хозяйка, позволила себе какое дерзкое слово, когда я наливал вашего супа, эти две драгоценности остались бы при мне. Но ты не только воздержалась от дерзостей, но и поднесла пучок трав, так что мне остается лишь передать их вам. – С этими словами он встал и поставил на плиту щербатую чашу: – Это сокровенный синий фарфор, вещь редкая, как цилинь⁶⁵ или феникс, таких в Поднебесной, может, больше и нет. О ее ценности ваш немой зять понятия не имеет. Досталась она ему при дележке награбленного, и он отослал ее вам, скорее всего, лишь потому, что она большая. И вот еще это. – Он постучал по земле бамбучиной, и по звуку стало ясно, что внутри она полая. – Нож есть?

Матушка подала ему тесак для овощей, и он перерезал еле заметную бечевку на концах. Бамбучина распалась на две половинки, и на землю выкатился свиток. Нищий развернул его, пахло гнилью, и перед нами предстала нарисованная на пожелтевшем шелке большая птица. Мы невольно вздрогнули: она как две капли воды походила на ту большую птицу с вкуснейшим мясом, что приволокла домой на спине третья сестра. На картине птица стояла, выпрямившись, высоко вздернув голову и искоса глядя потухшим взором больших глаз. Пояснений по поводу свитка или изображенной на нем птицы горбоносый давать не стал. Он снова свернул его,

⁶⁵ Цилинь – мифический зверь, изображаемый в виде однорогого оленя, покрытого пластинами, как носорог; считается предвестником счастливых событий.

положил поверх чаши и, даже не оглянувшись, вышел из дома. Свободные теперь руки висели вдоль тела, он одеревенело отмерял в лучах солнца огромные шаги.

Матушка застыла подобно сосне, а я – подобно наросту на ее стволе. Пятеро сестер походили на серебристые ивы, а малец Сыма – на молодой дубочек. Вот так, частичкой смешанного леса, мы и стояли молча перед таинственной чашей и загадочным свитком. Может, мы и впрямь обратились бы в деревья, если бы не насмешливое хихиканье третьей сестры с кана.

Итак, ее слова сбылись. С благоговением мы отнесли картину в тихие покои и повесили перед столиком для благовоний. А раз у большой щербатой чаши такая необыкновенная история, разве след простому человеку пользоваться ею? У матушки от свалившегося на нас счастья голова заработала яснее, вот она и пристроила чашу на столик для благовоний, налив в нее чистой воды для Птицы-Оборотня.

Весть о том, что в нашей семье воплотился дух птицы, с быстротой молнии разнеслась по Гаоми, а вскоре достигла и более отдаленных мест. Люди нескончаемым потоком шли к третьей сестре за лекарствами и предсказаниями, но она принимала не более десятка в день. Из своих покоев сестра не выходила, просители обращались к ней, стоя на коленях у окна. Через небольшое отверстие, сделанное в бумаге, доносилась ее похожая на птичий щебет речь: она указывала заблудшим путь истинный, давала консультации и советы больным. Рецепты третьей сестры – теперь исключительно Птицы-Оборотня – были курьезны до крайности, иногда даже смахивали на розыгрыш. Страдавшему желудком она посоветовала перемолоть и смешать семь пчел, пару шариков навозного жука, два ляна⁶⁶ листа персика, полцзиня яичной скорлупы и принимать все это, запивая кипяченой водой. Человеку в заячьей шапке, у которого болели глаза, предписала растолочь семь цикад, пару сверчков, пять богомоллов и четырех земляных червей, смешать в кашницу и наносить на глаза. Пациент поймал вылетевший из дырочки рецепт, прочел, и на лице у него отразилось полное неуважение. Мы услышали, как он проворчал себе под нос:

– Вот уж действительно Птица-Оборотень: всё сплошь птичья еда.

Продолжая ворчать, он ушел, а нам стало стыдно за сестру. Цикады да сверчки – птичьи лакомства, как этим вылечить глаза? В то время как я в смятении размышлял над этим, человек с больными глазами буквально влетел обратно в наш двор и, рухнув на колени у окна, стал биться лбом о землю, да так часто, будто чеснок толоч:

– Великий дух, прошу простить! – голосил он. – Великий дух, прошу простить...

В ответ на его причитания раздался ехидный смешок сестры. Позже мы узнали, что, как только этот говорун вышел за ворота, ему на голову из поднебесья ринулся ястреб и, закогтив шапку, снова взмыл в вышину.

Другой человек задумал недоброе и, притворившись, что страдает от уретрита, преклонил колена перед окном, моля о помощи.

– Что у тебя болит? – спросила через окно Птица-Оборотень.

– Мочиться трудно, – отвечал тот. – Одеревенелое все и холодное.

По другую сторону окна стало тихо, будто Птица-Оборотень в смущении удалилась. А мнимый больной, который до чувственных утех был сам не свой, возьми да и припни глазом к отверстию в бумаге, чтобы подсмотреть, что там делается внутри. И тут же с воплем отшатнулся. Откуда-то сверху свалился огромных размеров скорпион и без лишних церемоний впился ему в шею – она мгновенно распухла. Потом распухло и лицо, да так, что от глаз остались одни щелочки, как у гигантской саламандры.

То, что Птица-Оборотень употребила свои волшебные чары, чтобы наказать негодяя, вызвало бурный восторг у людей добродетельных и в то же время резко подняло ее авторитет. В последующие дни на нашем дворе уже можно было услышать диалекты самых далеких про-

⁶⁶ Лян – мера веса, ок. 37 г.

винций. Матушка поспрашивала и выяснила: кто-то аж с Восточного моря сюда добирался, а иные так и с Северного. А когда она поинтересовалась, откуда они узнали о Птице-Оборотне, они смотрели на нее, не зная, что сказать. От этих людей исходил солоноватый запах, и матушка объяснила, что так пахнет море. Спали они у нас во дворе, терпеливо дожидаясь своей очереди. Птица-Оборотень, как ею было заведено, принимала каждый день по десять человек. После этого в восточной пристройке наступала мертвая тишина. Матушка посылала туда четвертую сестру с водой, а вместо нее выходила третья. Потом, когда она посылала в пристройку пятую сестру с едой, оттуда выходила уже четвертая. Так они и мелькали одна за другой перед страждущими, тем так и не удалось выяснить, кто из них Птица-Оборотень.

Сбрасывая состояние птицы-оборотня, сестра в целом вела себя как человек, но странных выражений лица и телодвижений у нее было предостаточно. Говорила она немного, постоянно шурилась, предпочитала сидеть на корточках, пила чистую холодную воду, причем с каждым глотком запрокидывала голову, как делают птицы. Хлеба не ела, да и мы его не ели, потому что в доме не было ни зернышка. Все посетители подносили нашей семье то, что любят птицы. Из мясного это были цикады, червячки шелкопряда, бобовая тля, майские жуки, светлячки. Подносили и вегетарианское: конопляное семя, кедровые орешки, семечки подсолнуха. Все эти подношения мы, конечно, сначала передавали третьей сестре, а остатки делили между матушкой, сестрами и сопляком Сыма. Сестры, как примерные дочери, часто краснели до ушей, но отказывались от своего червячка шелкопряда или бобовой тли. Молока у матушки стало очень мало, но по качеству оно оставалось превосходным. В эти «птичьи» времена она пыталась отнять меня от груди, но, поняв, что я могу оборотиться до смерти, отказалась от своей затеи.

В благодарность за горячую воду и другие удобства, а главное – за то, что Птица-Оборотень помогла решить их проблемы, люди с моря оставили нам на прощание целый мешок вяленой рыбы. Бесконечно признательные, мы проводили их до самой дамбы. Именно тогда мы и увидели на неторопливо несущей свои воды Цзяолунхэ несколько десятков рыбачьих лодок с толстыми мачтами. За всю историю реки на ней пару раз видели лишь деревянные плоты, на которых перебирались на другой берег во время разлива. Благодаря Птице-Оборотню по Цзяолунхэ установилось прямое сообщение с просторами морей. Было уже начало десятого месяца, и на реке дул сильный северо-западный ветер. Люди с моря взошли на лодки; хлопая, поднялись серые паруса с множеством заплат, и лодки стали медленно выруливать на середину реки. От ила, поднятого кормовыми веслами, вода помутнела. Стаи серебристо-серых чаек совсем недавно встречали эти рыбачьи лодки, а теперь провожали их в обратный путь. С пронзительными криками они то камнем падали на поверхность воды, то взмывали высоко в небо. Некоторые даже устроили представление: летали на спине или даже зависали в воздухе. На дамбе собралось много зевак, они тоже приняли участие в торжественных проводах отбывающих в дальние края. Паруса наполнились ветром, задвигались кормовые весла, и лодки стали медленно удаляться. Их путь лежал по Цзяолунхэ до места, где она сливалась с Великим каналом⁶⁷, из Великого канала – в Баймахэ – реку Белой Лошади, а оттуда прямо в Бохай⁶⁸. В пути они пробудут двадцать один день. Эти сведения по географии сообщит мне восемнадцать лет спустя Пичуга Хань.

Прибытие в дунбэйский Гаоми гостей издалека было чуть ли не повторением сказаний о путешествиях Чжэн Хэ и Сюй Фу⁶⁹ и стало одной из славных страниц истории нашего края. И все благодаря Птице-Оборотню из семьи Шангуань. Эта слава разредила горестные тучи в

⁶⁷ Великий канал строился две тысячи лет, соединяет крупные порты Шанхай и Тяньцзинь; длина более 2000 км.

⁶⁸ Бохайский залив (кит. море Бохай) – северо-западная часть Желтого моря.

⁶⁹ Чжэн Хэ (1371–1433) – китайский мореплаватель и дипломат, возглавлявший в 1405–1433 гг. путешествия по Тихому и Индийскому океанам и достигший побережья Африки. Сюй Фу – маг и гадатель при дворе императора Цинь Шихуана, по приказу которого дважды отправлялся в восточные моря в поисках эликсира бессмертия.

душе матушки. Может, она надеялась, что в семье воплотится дух еще какой твари, появится какая-нибудь Рыба-Оборотень, что ли. А может, она вовсе так и не думала.

Рыбаки отправились в обратный путь, а нас посетила знатная гостья. Она прибыла в сверкающем черным лаком американском «шевроле», на подножках с обеих сторон стояли два крепких молодца с «маузерами». Машина высокой гостьи поднимала на деревенской дороге целое облако пыли, и бедные телохранители походили на вывалившихся в пыли серых ослов. Возле наших ворот автомобиль остановился, охранник открыл дверцу. Сначала показалась увешанная драгоценностями голова, потом шея и дебелое тело. И фигурой, и выражением лица эта женщина напоминала гусыню, правда холеную. А гусь, как известно, тоже птица. Но вновь прибывшая была не из простых, а обращаться к Птице-Оборотню следовало со всем почтением. Птица-Оборотень знала всё наперед, от нее ничего нельзя было скрыть, и она не выносила лицемерия и гордыни. Женщина встала на колени перед окошком и, закрыв глаза, начала вполголоса молиться. Ясно, что не о здоровье приехала просить – с лицом-то цвета розовых лепестков. Жемчугами усыпана с головы до ног – значит, и не о богатстве. С чем, интересно, могла обратиться к Птице-Оборотню такая дама? Через какое-то время из дырки в окне вылетела свернутая трубочкой бумажка. Женщина развернула ее, прочитала и зарделась, как петушиный гребешок. Бросила под окно несколько серебряных даянов, повернулась и была такова. Что написала на бумажке Птица-Оборотень? Об этом знают лишь она да эта женщина.

Вскоре наплыв посетителей иссяк, закончилась и вяленая рыба. Наступила суровая зима. У матушкиного молока опять появился привкус трав и коры. На седьмой день двенадцатого месяца прошел слух, что одна из крупнейших в уезде христианских сект, «Божье собрание», утром восьмого дня устраивает в соборе Бэйгуань благотворительную раздачу каши. Вот мы и пошли с матушкой на ночь глядя, с чашками и палочками в руках, в уездный город вместе с толпой таких же голодных. Дома остались лишь третья сестра и Шангуань Люй: одна потому, что получеловек-полусвятая, другая потому, что наполовину человек, наполовину злой дух, и от голода они страдали меньше.

– Эх, свекровушка, свекровушка, – сказала матушка, бросив урожденной Люй пучок сухой травы, – помирай-ка ты быстрее, коли можешь. Чего вместе с нами мучиться!

На дорогу, ведущую в уездный город, мы ступили впервые. Да и какая это дорога – так, белесая тропинка, протоптанная ногами людей и копытами скота. Ума не приложу, как по ней проехал автомобиль той роскошной дамы. Мы брели под усыпанным холодными звездами небом. Я стоял в своем «кармане» на спине матушки, малец Сыма устроился на спине четвертой сестры, пятая тащила на себе восьмую сестренку, а шестая и седьмая шли сами. Минула полночь. В пустынных полях вокруг беспрестанно слышался детский плач. Седьмая и восьмая сестры, а с ними и малец Сыма тоже захныкали. Матушка велела им прекратить, но и сама начала всхлипывать, равно как четвертая, пятая и шестая сестры. Пройдя еще немного на ослабевших ногах, они повалились на землю. Пока матушка, подняв одну, шла поднимать другую, первая падала снова; пока поднимала первую, падала вторая. В конце концов матушка тоже уселась на промерзлую землю. Мы сбились в кучу и согревались теплом друг друга. Матушка перетащила меня со спины на грудь и поднесла мне к носу свою холодную ладонь, чтобы проверить, дышу ли я. Наверное, решила, что я уже умер от голода и холода. Слабым дыханием я дал понять, что еще жив. Она подняла занавеску над грудью и запихнула мне в рот ледяной сосок. Будто кусок льда стал таять, во рту все онемело. Грудь ее была пуста, и, как я ни старался, высосать не удалось ничего. Из груди сочились лишь тоненькие, похожие на ниточки жемчуга, струйки крови. Ну и холодина, просто жуть! Среди этой страшной стужи у голодных людей возникало множество прекрасных видений: жарко пылающий огонь в печке, окутанный паром горшок, в котором варится курица с уткой, полные тарелки больших пирожков с мясом, а еще

свежие цветы, зеленая трава... У меня перед глазами стояли лишь груди – две гладкие и нежные драгоценные тыквочки, два исполненных жизни голубочка, две сияющие чистым и влажным блеском фарфоровые вазы. Прекрасные, ароматные, они изливали голубоватую, сладкую, как мед, влагу, наполняющую желудок и пропитывающую меня с головы до ног. Я обвивал их руками, плавал в их молоке... Миллионы и миллиарды звезд вращались над головой, из них постепенно тоже складывались груди. Грудь Сириуса – Небесного Пса, грудь Большой Медведицы – Северного Ковша, грудь Ориона – Охотника, грудь Веги – Ткачихи, грудь Альтаира – Пастуха, грудь богини Чан Э на луне, грудь матушки... Я выплюнул матушкину грудь и вдруг увидел человека, который, словно жеребенок, приближался к нам, высоко держа факел – горящие лохмотья своей куртки. Это был почтенный Фань Сань. Голый по пояс, в едком дыму от тлеющей шерсти, он хрипло кричал:

– Земляки! Ни в коем разе не садитесь, не садитесь ни в коем разе! Как только сядете, сразу замерзнете! Поднимайтесь, земляки, и марш вперед! Идти – значит жить, усестся – значит конец.

Призыв Фань Саня вырвал многих из иллюзорного тепла – верного пути к смерти, – и они снова побрели вперед. И это был единственный шанс выжить в страшную стужу. Поднялась и матушка. Она переместила меня на спину, маленького бедолагу Сыма прижала к груди, взяла за ручку восьмую сестренку, а потом, как взбесившаяся лошадь, стала пинать сестер – четвертую, пятую, шестую и седьмую, – чтобы заставить их встать. И мы побрели за Фань Санем, который все так же высоко держал пылающий факел, освещая нам путь. Несли нас не ноги, нами двигала сила воли, желание добраться до города, до собора Бэйгуань, чтобы сподобиться милости Божией и съесть чашку каши-лаба.

Десятки трупов остались по обочинам дороги после этого трагического похода. Некоторые лежали с расстегнутыми куртками и исполненными счастья лицами, будто пытались согреть грудь пламенем факела.

Почтенный Фань Сань умер, когда восходящее солнце залило красным всё вокруг.

Посланной Богом каши мы все же поели. Я тоже отведал ее через матушкину грудь. Раздачи этой каши не забыть никогда. Высоченная каменная глыба собора. Рассевшиеся на кресте сороки. Пыхтение паровоза на железной дороге. Окутанные паром огромные котлы – в них можно приготовить целого быка. Священник в черном облачении читает молитву. Очередь из нескольких сотен голодных людей. Прихожанин «Божьего собрания» раздает кашу черпаком – каждому по черпаку, неважно, большая чашка или маленькая. Каша вкусная, поглощают ее с громким чавканьем. Сколько слез пролито над ней! Несколько сот красных языков дочиста вылизывают чашки. Съевшие свою порцию встают в очередь снова. В огромный котел засыпают еще несколько мешков мелкого риса и наливают несколько ведер воды. По вкусу молока я определил, что на этот раз «кашу милосердия» варили из обрушенного риса, тронутого плесенью гаоляна, подгнивших соевых бобов и ячменя с мякиной.

Глава 15

Но когда, наевшись каши, мы возвращались в свою деревню, голод стал нестерпимым. Похоронить трупы, валявшиеся в поле вдоль дороги, не было сил, даже глянуть на них духу не хватало. Исключением стал почтенный Фань Сань. Его обычно не очень-то жаловали, но в трудную минуту он скинул куртку, поджег ее и огнем и своими призывами привел нас в чувство. Он спас нам жизнь – такое не забывается. Под водительством матушки иссохшее, как прут, тело старика отнесли в сторону от дороги и забросали землей.

Первое, что мы увидели, придя домой, была Птица-Оборотень. Она расхаживала по двору, держа на руках что-то, завернутое в соболью шубу. Матушка оперлась на ворота, чуть не падая. Третья сестра подошла и протянула ей сверток.

– Что это? – спросила матушка.

– Ребенок, – прошептала сестра почти человеческим голосом.

– Чей ребенок? – задала вопрос матушка, хотя, похоже, уже догадалась.

– Ясное дело чей, – ответила сестра.

Конечно, шуба Лайди – значит, и ребенок ее.

У этой смуглой, как угольный брикет, девочки с черными, как у бойцового петуха, глазами и тонкими стрелками губ большие бледные уши явно контрастировали с цветом лица, что со всей ясностью свидетельствовало о ее происхождении: для нас с сестрами это была первая племянница, и произвели ее на свет старшая сестра и Ша Юэлян.

Лицо матушки исказилось от отвращения, а ребенок ответил на это каким-то полусмешком-полумяуканьем. От ненависти у матушки аж в глазах помутилось, и она, презрев могущественные чары Птицы-Оборотня, лягнула ее по ноге. Та взвыла от боли, отскочила на пару шагов, а когда обернулась, то выразила свой гнев чисто по-птичьи: твердо сжатые губы приподнялись, словно готовые клюнуть, руки взмыли вверх, будто она собиралась взлететь. Но матушке было уже все равно, птица перед ней или человек.

– Кто позволил тебе принять этого ребенка, идиотка? – Третья сестра вертела головой, словно выискивая насекомых в дупле. – Лайди, шлюха бесстыжая! – бушевала матушка, возводя глаза к небу. – И ты, Монах Ша, бандит с черным сердцем! Вы только рожать горазды, а растить этих детей кто будет? Думаете, подбросили ребеночка и в кусты? Как бы не так! Да я в реку ваше отродье брошу ракам на корм, собакам на улице оставлю, в болоте – воронам на съедение, вот увидите!

Схватив девочку в охапку и не переставая повторять свои угрозы, матушка помчалась по проулку. Добежав до дамбы, повернула обратно и рванула на главную улицу, там снова развернулась и опять устремилась к дамбе. Бежала она все медленнее, ругалась все тише, как трактор с соляркой на исходе. Тяжело шмякнувшись задом на землю там, где погиб пастор Мюррей, она подняла глаза на полуразрушенную колокольню, с которой он сиганул вниз, и пробормотала:

– Помираете вот... Сбегаете, бросаете одну. Ну как тут жить, когда столько ртов кормить нужно! Господи Боже, небесный правитель, ну скажи, как жить дальше?

Я разревелся, оросив слезами матушкину шею. Девочка тоже запищала.

– Цзиньтун, сердце мое, не плачь, – успокаивала меня матушка. – Бедная деточка! – повернулась она к девочке. – И зачем ты только появилась на свет! У бабки молока не хватает даже на твоего маленького дядю, а вместе вы оба с голоду помрете. Сердце у меня не камень, но что я могу поделать...

Она положила завернутую в соболью шубу девочку у входа в церковь и кинулась к дому, будто спасаясь от смертельной опасности. Но через несколько шагов ноги перестали слушаться.

Девочка верещала, как поросенок под ножом, и невидимая сила остановила матушку, словно стреножив ее...

Три дня спустя все мы вдвоем появились в уездном городе на оживленном рынке, где торговали людьми. На спине матушка тащила меня, на руках – это отродье Ша. Четвертая сестра несла на закорках паценка Сыма. Пятая сестра взвалила на себя восьмую сестренку, а седьмая шла сама по себе.

В мусорной куче мы отыскивали немного гнилой капусты и, подкрепившись, кое-как доплелись до рынка. Матушка заткнула за ворот пятой, шестой и седьмой сестрам по пучку соломы, и мы стали ждать покупателей.

Перед нами тянулись дощатые бараки. Выкрашенные известью стены и верх резали глаз белизной. Из жестяных труб на крышах поднимались вверх черные клубы дыма, но ветер относил их в нашу сторону. Грაციозно покачиваясь, они меняли свою форму. Время от времени из барачных выбегали проститутки – распущенные волосы, торчащие из распахнутых кофты белоснежные груди, ярко накрашенные губы и заспанные глаза. Кто с тазиком, кто с ведром, они направлялись за водой к колодцу, от которого валил пар. Немошными белыми ручками они вращали уныло поскрипывающий тяжелый ворот. Когда увесистая бадья показывалась из колодца, они, упираясь ногой в деревянную сандалию, чуть цепляли ее, а потом ставили на край, где ужеросло много льда в форме пампушек или грудей. Девушки бегали туда-сюда, сандалины звонко постукивали, а от выставленных напоказ – уже, наверное, ледяных от холода – грудей несло серой. Я выглядывал из-за плеча матушки, но издали видны были лишь беспорядочно приплясывающие груди этих странных женщин, – они походили на бутоны мака, на порхающих в горном ущелье бабочек. Обратили на них внимание и сестры. Я слышал, как четвертая сестра что-то тихо спросила у матушки, но та не ответила.

Мы стояли перед высокой стеной, толстой и мощной. Она защищала от северо-западного ветра, так что было сравнительно тепло. Слева и справа жались такие же, как мы, пожелтевшие и осунувшиеся, такие же дрожащие, страдавшие от голода и холода люди. Мужчины и женщины. Матери с детьми. Мужчины все глубокие старики, морщинистые, как гнилые пни, большей частью слепые, а если не слепые, то с красными, опухшими, гноящимися глазами. Рядом стояли или сидели на корточках дети – мальчики и девочки. На самом деле отличить, кто из них мальчик, а кто девочка, было непросто: все чумазые, будто только что из трубы вылезли. У всех на спине вставлен за воротник пучок соломы, в основном рисовой, с торчащими сухими желтыми листьями. Это навевало мысли об осени, о запахе соломы в ночи, похрустывающей на зубах лошадей, и о том, какой радостью наполняет этот звук и людей, и животных. У других за воротником собачьими и ослиными хвостами висела сорванная где попало трава, вроде полыни. Большинство женщин, как и матушку, окружали целые стаи детей, но столько, как у нее, не было ни у кого. У одних все дети стояли с травой за воротником, у других лишь некоторые. Над головами детей тяжело покачивались морды лошадей, ослов, мулов: большие, как цимбалы, глаза, толстые, похотливые губы, обросшие жесткими, колкими волосками, за которыми мелькали ровные и крепкие белые зубы. Среди других выделялась одна женщина, вся в белом, даже волосы завязаны белой тесьмой; бледное лицо, посиневшие губы и веки. Она одиноко стояла у самой стены, без детей и без соломы за воротником. В руках она держала ветку полыни, хоть и высохшую, но красивую по форме.

Рядом с белеными бараками разгорелись страсти; пронзительные женские вопли, подобно лезвию ножа, прорезали воздух и солнечный свет. У колодца сцепились двое: одна в красных штанах, другая – в зеленых. Та, что в красных, заехала той, что в зеленых, по лицу. Та, что в зеленых, ответила ударом в грудь. Потом обе отступили и с минуту таранились друг на друга. Лиц я не видел, но мог себе представить, что они выражали. Мне эти двое почему-то показались похожими на старших сестер – Лайди и Чжаоди. Женщины вдруг подпрыгнули, как бойцовые петухи, и бросились друг на друга: ходуном ходили руки, мотались в разные сто-

роны груди, крохотными жучками брызгали во все стороны капельки слюны. Красноштанная вцепилась противнице в волосы, вторая не замедлила сделать то же самое. Улучив момент, красноштанная пригнулась и впилась зубами в левое плечо противницы. Почти одновременно зеленоштанная тоже цапнула ее за плечо, и тоже за левое. Ни та ни другая не уступала, силы были равны, и обе безрезультатно топтались у колодца. Остальные проститутки занимались кто чем: кто безмятежно покуривал возле дверей, кто, присев на корточки, чистил зубы и сплевывал белую пену, кто хохотал, хлопая в ладоши, кто развешивал на стальной проволоке длинные тонкие чулки. На большом круглом валуне рядом с бараком стоял навтыжку человек в черных, начищенных до блеска кавалерийских сапогах. Со свистом рассекая воздух лозинкой, зажатой попеременно то в левой, то в правой руке, он демонстрировал приемы владения мечом. Из одного из заведений на юго-западе вывалилась толпа мужчин: пара хохочущих толстопузых коротышек в окружении десятка длинных и тощих молодых. Толстяки не просто смеялись, они гоготали. Этот необычный гогочущий смех, который до сих пор стоит у меня в ушах, заставил вспомнить о происходящем у колодца. Пузатики со свитой направились к баракам, гогоча всё громче. Мужчина с лозинкой вместо меча покинул валун и юркнул в один из номеров. К колодцу же устремилась низкорослая толстушка; она семенила своими ножонками, покачиваясь при этом из стороны в сторону. Казалось, у нее их и нет: они словно в землю провалились. Она так размахивала своими короткими, толстыми, как корни лотоса, ручками, что можно было подумать, будто она бежит. На самом-то деле передвигалась она очень даже неспешно. Исходившая от ее тела мощь в основном расходовалась на то, чтобы раскачиваться и трясти мясами. До нее было еще метров сто с лишним – а может, и больше, – но мы уже явственно слышали ее пыхтение, от нее валил пар, будто она вышла из бани. Наконец она достигла колодца, ее ругань прерывалась одышкой и кашлем. Мы догадались, что драчуны в ее подчинении и она пытается разнять их. Но те вцепились друг в друга отчаянной хваткой, и растащить их было невозможно. Они не могли пересилить друг друга, то одна брала верх, то другая. Пару раз чуть в колодец не рухнули – хорошо, ворот помешал. Толстуху отпихнули так, что она тоже чуть не сыграла в воду, – спасибо, опять ворот выручил. Когда она навалилась на него, он повернулся с тяжким скрипом. Было видно, как она пытается подняться, но из-за ледяных пампушек мягко шлепается на землю. Послышались какие-то звуки, вроде всхлипываний, и мы поразились: неужто плачет? Поднявшись, она налила в таз холодной воды и окатила драчуний. Те вскрикнули от неожиданности и мгновенно разошлись – растрепанные, исцарапанные, одежда разодрана, груди бесстыдно торчат – все в синяках и ссадинах. Но, полные злости, принялись смачно осыпать друг друга кровавыми плевками. Толстуха налила еще тазик и плеснула от души. Вода рассыпалась в воздухе прозрачными крылами, а толстуха снова шлепнулась, опередив падающие на землю капли. Таз вылетел у нее из рук и чуть не угодил по голове одному из компании пузатых. Те, видать, толстуху хорошо знали, подняли ее, пережевая ругань с прибаутками, отряхнули и вместе с ней всей толпой завалились в барак.

Раздался протяжный вздох разочарования: я понял, что все с интересом следили за этим представлением.

Около полудня на главной дороге с юго-востока показался конный экипаж. Большой белый жеребец шел, высоко подняв голову: на лоб легла прядь серебристых волос, глаза с поволокой, розоватая переносица, алые губы; на шее – медный колокольчик на красной бархатной ленте. Экипаж, покачиваясь, приближается, и вокруг разносится чистый звон. На спине жеребца высокое кожаное седло, на оглоблях посверкивает медная обивка. Огромные колеса с белыми ступицами и белый верх экипажа, многократно покрытый тунговым маслом для защиты от солнца и дождя, – в общем, великолепное зрелище. Такого роскошного экипажа мы в жизни не видели и были уверены, что пассажир в нем поболагороднее, чем дама на «шевроле», которая приезжала в Гаоми к Птице-Оборотню. Даже кучер в цилиндре, сидящий на козлах, развесив стрелки усов, казался нам человеком необыкновенным. Насупленное лицо,

грозный взгляд – уж верно, не такая балаболка, как Ша Юэлян, и посуровее, чем Сыма Ку. С ним, наверное, лишь Пичуга Хань мог сравниться, да и то если его приодеть соответственно.

Экипаж неспешно остановился, красавец жеребец стал бить копытом в унисон с позвякиванием колокольчика. Кучер откинул занавеску, и пассажир – мы столько гадали, каков он из себя, – вышел.

Это была дама в собольей шубе с рыжей лисой вокруг шеи. Эх, была бы это моя старшая сестра Лайди! Так нет! Из экипажа вышла голубоглазая иностранка с золотистыми волосами. Сколько ей лет, знали, наверное, лишь ее родители. Следом появился симпатичный черноволосый юноша в накинутом на плечи синем шерстяном студенческом пальто. Он мог быть и сыном иностранки, но ничего общего в их обличье не было.

Люди ринулись было вперед, будто собираясь ограбить эту иностранку, но в нескольких шагах от нее робко остановились: «Госпожа, почтеннейшая, купите мою внучку!», «Госпожа, благородная госпожа, только гляньте на моего сына! Он повыносливее собаки будет, любую работу делать может...» – мужчины и женщины стеснительно предлагали иностранке своих детей. Лишь матушка осталась стоять где стояла. Она застыла, не в силах оторвать глаз от собольей шубы и лисы. Ясное дело, о Лайди думала: на руках ее ребенок, в душе все перевернулось, а слезы застлали глаза.

Выскородная иностранка прошла по человеческому рынку, прикрывая рот платком. За ней тянулся такой аромат, что мы с этим заячьим отродьем Сыма даже чихнули. Она присела на корточки перед слепым стариком и окинула взглядом его внучку. Девочка испугалась свешивающейся с шеи лисы, ухватилась за дедовы ноги и спряталась за ним. У меня в мозгу отпечатались ее полные ужаса глаза. Слепец потянул носом и, почуяв, что благородная дама где-то рядом, простер руку:

– Спасите жизнь ребенка, почтенная, со мной она помрет с голоду. А мне ни фэня⁷⁰ не надобно...

Иностранка поднялась и вполголоса что-то сказала юноше в студенческой форме.

– Ты кем ей приходишься? – громко обратился тот к старику.

– Дед я ей, да толку от меня никакого, сдохнуть бы такому деду...

– А что ее родители? – продолжал юноша.

– Померли с голоду, – отвечал слепец, – все померли. Те, кому бы след помереть, живые, а те, кому бы жить да жить, померли. Сделай милость, господин хороший, заberi ее с собой. Мне ничего не надо, лишь бы ты помог ребенку выжить...

Юноша повернулся к иностранке, что-то проговорил, и она закивала. Молодой человек нагнулся и попытался вытащить девочку, но не успел он коснуться ее плеча, как она впилась зубами ему в запястье. Он вскрикнул и отскочил в сторону. Иностранка демонстративно пожалала плечами и подняла брови. Платком, которым прикрывала рот, она обмотала юноше руку.

Обуреваемые невыразимым страхом или восторгом, мы с матушкой ждали, казалось, тысячу лет. И вот наконец увешанная жемчугами и драгоценностями, надушенная иностранка стоит перед нами, держа пострадавшего юношу за руку. В это время справа слепой старик попытался отлупить кусачую девчонку. Но та была начеку и словно играла с дедом в прятки, поэтому всякий раз он попадал своей бамбуковой палкой по земле или по стене.

– Ах ты чертенок! – сокрушенно вздыхал слепец.

Я жадно вдыхал ароматы иностранки: сквозь запах акации пробивался тонкий аромат роз, а к нему примешивался аромат хризантем. Но пьянил меня запах ее груди: я вдыхал его, раздувая ноздри, даже несмотря на тошнотворный дух овчины. Теперь, без платка, ее рот предстал во всей красе: большой, как у Лайди, с полными, как у Лайди, губами под слоем красной

⁷⁰ Фэнь – мелкая монета, 1/100 юаня.

помады. И нос с горбинкой, как у всех сестер Шангуань. Только у них он напоминает головку чеснока, дурацкий и милый одновременно, а у этой он крючком, как у стервятника, что придает ее лицу хищное выражение. Всякий раз, когда она внимательно вглядывалась в кого-нибудь из нас, на низком лбу у нее проявлялись глубокие морщины.

Рассматривали ее все, но могу с гордостью сказать, что никто не сумел разглядеть ее так, как это сделал я, и никто не был так вознагражден за это. Мой взгляд проник через толстый слой меха на ее теле, обнаружив большие, почти как у матушки, груди, такие красивые, что я почти забыл про голод и холод.

– Почему ты продаешь детей? – Юноша указал перевязанной рукой на моих сестер с пучками соломы за воротом.

Матушка не ответила. Нужно ли отвечать на такой дурацкий вопрос! Парень повернулся к иностранке и что-то сказал ей. Та не отрывала глаз от собольей шубы, в которую была закутана дочка Лайди; потом, протянув руку, пощупала мех. Встретилась глазами с малышкой, смотревшей на нее со злобещей ленкой, подобно пантере, и отвела взгляд.

Я надеялся, что матушка отдаст иностранке ребенка Лайди. Мы даже денег не взяли бы и соболью шубу отдали бы в придачу. Терпеть не могу эту девчонку! С какой стати я должен делиться с ней молоком! Его даже восьмая сестренка Юйнюй не заслуживает, а ей-то за что?! И почему груди Лайди остаются без дела?

В то время как я предавался этим размышлениям, в одном из домов с черепичной крышей в дунбэйском Гаоми Ша Юэлян вынул изо рта сосок Лайди, долго сплевывал гной с кровью, а потом прополоскал рот.

– Вот и все, грудница это у тебя, – заявил он.

– Ша, милый, ну сколько мы будем бегать туда-сюда, как зайцы от собак? – хлюпала носом зареванная Лайди.

Он закурил, помедлил и наконец злобно бросил:

– У кого молоко, та и мать. Сперва к японцам мотанемся, получится – хорошо, не получится – выкрутимся как-нибудь.

Иностранка осмотрела одну за другой всех моих сестер. Сначала пятую и шестую, у которых были соломенные бирки на шее, потом четвертую, седьмую и восьмую. На маленького ублюдка Сыма она даже не взглянула, а вот ко мне проявила определенный интерес. Думаю, моим главным достоинством стал мягкий рыжеватый пушок на голове. Сестер осматривали весьма необычным способом. Юнец подавал команды: «Наклони голову!», «Нагнись!», «Пни ногой!», «Подними руки!», «Открой рот пошире и скажи “а-а”», «Улыбнись!», «Пройдись!», «Пробегись!». Сестры послушно исполняли всё, что им было велено, а иностранка внимательно наблюдала за ними, то кивая, то отрицательно качая головой. В конце концов она указала на седьмую сестру и что-то сказала.

Юноша сообщил матушке, что графиня Ростова, известная своей благотворительностью, желает удочерить и воспитать красивую китайскую девочку.

– Ей приглянулась эта. Вашей семье повезло.

Из глаз матушки брызнули слезы. Она передала ребенка Лайди четвертой сестре и обняла голову седьмой:

– Цюди, деточка, вот и тебе улыбнулось счастье...

Слезы матушки падали сестре на голову, и та захныкала:

– Мама, я не хочу к ней, от нее так странно пахнет...

– Это прекрасный запах, глупенькая, – всхлипнула матушка.

– Вот и славно, тетушка, – нетерпеливо проговорил молодой человек. – Теперь нужно договориться о цене.

– Господин хороший, раз она будет приемной дочерью этой... дамы, ей, считай, и так огромное счастье привалило... Не надо мне денег, прошу только позаботиться о ребенке как следует...

Юноша перевел ее слова иностранке.

– Нет, деньги еще нужно дать, – проговорила та на ломаном китайском.

– Спросите почтенную даму, господин, не возьмет ли она еще одну девочку, чтобы сестренка рядом была.

Юноша перевел матушкины слова. Но графиня Ростова твердо покачала головой. Молодой человек сунул матушке десяток розоватых купюр, потом махнул кучеру, стоявшему возле лошади. Тот подбежал и согнулся в поклоне. Потом взял сестру на руки и отнес к экипажу. Только тогда она расплакалась в голос, протягивая к нам тоненькую ручку. Остальные сестры тоже расхныкались. Раскрыл рот с громким «уа» даже эта жалкая козявка Сыма. Помолчал, выдал еще одно «уа» и умолк. Кучер усадил седьмую сестру в экипаж. Потом в него поднялась иностранка. Уже садился и молодой человек, когда подбежала охваченная беспокойством матушка.

– Господин хороший, а где живет эта дама? – ухватила она его за рукав.

Тот холодно бросил:

– В Харбине.

Экипаж выехал на дорогу и вскоре исчез за деревьями. Но плач седьмой сестры, звон колокольчика и аромат груди графини навечно запечатлелись в моей памяти.

Матушка стояла, застыв, как статуя, с зажатыми в руке розоватыми купюрами. Я тоже стал частью этой статуи.

В тот вечер мы ночевали не на улице, а устроились в маленькой гостинице. Матушка послала четвертую сестру купить десяток лепешек. Сестра же принесла аж сорок дымящихся пирожков и большой пакет жареного мяса.

– Четвертая барышня, ведь за эти деньги продана твоя сестренка! – рассердилась матушка.

Сестра расплакалась:

– Мама, ну пусть сестры хоть раз поедят как следует, да и тебе нужно поесть.

Матушка тоже начала всхлипывать:

– Сянди, ну не полезут матери в горло эти пирожки, это мясо...

Но сестра не сдавалась:

– Ты можешь не есть, а с Цзиньтуном что будет?

Эти слова возымели действие, матушка поела и пирожков, и мяса, чтобы было молоко накормить меня, а также маленькую дочку Лайди и Ша Юэяна.

Матушка захворала. От обжигающе-горячего, как снятая с жаровни железная посуда, тела шел скверный дух. Мы сидели вокруг и тарасились на нее. Матушка лежала, закрыв глаза, и с обсыпанных прозрачными пузырями губ срывались вереницы страшных слов. Она то громко вскрикивала, то тихо бормотала – иногда весело, иногда печально: «Господи... Пресвятая Богородица... ангелы... демоны... Шангуань Шоуси... пастор Мюррей... Фань Сань... Юй Сы... старшая тетушка... второй дядюшка... дед... бабка...» Имена китайских демонов и иностранных святых, людей, ныне здравствующих и отошедших в мир иной, уже известные нам истории и новые любопытные повествования – все это беспрестанным потоком изливалось из ее уст, материализуясь у нас перед глазами, перетекая одно в другое, – это были целые представления с бесконечными вариациями. Разобраться в ее горячечном бреде было все равно что разобраться в устройстве Вселенной, а запомнить всё значило положить на память всю историю Гаоми.

Матушкины крики встревожили хозяина гостиницы, и он припелся к нам, таща свое дряблое тело с обвисшей кожей. Дотронулся до ее лба, тут же отдернул руку, и его усыпанное бородавками лицо отразило панический ужас.

– Быстро за врачом, помрет ведь! – И, оглядев нас, обратился к четвертой сестре: – Ты, что ли, старшая? – Та кивнула. – Почему врача не зовете? Ну, не молчи же, барышня!

Сестра разрыдалась и бухнулась на колени:

– Дядюшка, яви милость, спаси нашу маму!

Хозяин задумался:

– А сколько у вас денег?

Сестра вытащила из-за пазухи у матушки несколько бумажек:

– За эти деньги мы продали нашу седьмую сестру, дядюшка.

– Пойдем со мной, – сказал тот, взяв деньги. – За доктором ходим.

Матушка пришла в себя, когда вырученные за седьмую сестру деньги закончились.

– Глаза открыла! Мама глаза открыла! – радостно закричали мы.

Матушка подняла руку и погладила каждого по лицу.

– Мама... мама... мама... мама... – повторяли мы.

– Баба... баба... – забубнил даже жалкая козявка Сима.

– А она?.. – Матушка вытянула руку.

Четвертая сестра взяла малышку, завернутую в соболью шубу, и поднесла к матушке. Та дотронулась до ребенка, закрыла глаза, и из них выкатились две слезинки.

Вскоре появился хозяин с печальной миной на лице.

– Не сочти за жестокосердие, барышня, но мне тоже семью кормить надо, – обратился он к четвертой сестре. – У вас постой не оплачен за несколько дней, еда опять же, масло для лампы, свечи...

– Дядюшка, – взмолилась сестра, – благодетель вы наш, долг мы непременно заплатим, прошу только – не выгоняйте, пока матушка не оправилась...

Утром восемнадцатого дня второго месяца тысяча девятьсот сорок первого года Сянди вручила уже совсем оправившейся матушке пачку денег:

– Мама, долг хозяину я уже вернула, это то, что осталось...

– Откуда у тебя деньги, Сянди? – ахнула матушка.

– Забирай братишек и сестренку, мама, и возвращайтесь домой, – грустно улыбнулась сестра. – Здесь мы не дома...

Побледневшая матушка схватила ее за руку:

– Сянди, скажи матери...

– Мама, я продала себя... Цена неплохая, хозяин помог, торговался не знаю сколько...

Мадам осматривала четвертую сестру, как скотину.

– Тоша слишком, – в конце концов заявила она.

– Мешок риса – и будет то, что надо! – нашелся хозяин.

– Двести, от моей доброты душевной! – выставила два пальца мадам.

– Уважаемая, у этой девочки мать больная и целый выводок младших сестер, накинула бы еще... – продолжал торговаться хозяин.

– Охо-хо, в наши дни, как говорится, в ворота добродетельных не достучишься! – хмыкнула мадам. Хозяин продолжал канючить, а четвертая сестра бросилась на колени. – Ладно, человек я добросердечный. Двадцать сверху, и это крайняя цена!

Услышав ответ Сянди, матушка закачалась и медленно сползла на пол.

В это время из-за двери донесся громкий сиплый голос:

– Давай, пойдем уже, барышня, сколько мне здесь прохлаждаться, тебя дожидаясь!

Опустившись на колени, четвертая сестра поклонилась матушке в ноги. Потом встала, погладила по голове пятую сестру, потрепала по щеке шестую, щипнула за ушко восьмую и торопливо чмокнула меня в щеку. Потом все же ухватила меня за плечи и качнула из стороны в сторону. На лице ее отразилась буря эмоций, оно напомнило мне цветки сливы в снегопад.

– Эх, Цзиньтун, Цзиньтун, расти большой и вырастай скорей, у семьи Шангуань только на тебя и надежда! – Она окинула взглядом комнату, и из горла у нее вырвался тоненький, как писк цыпленка, всхлип. Прикрыв рот рукой, будто ее тошнило, она опрометью бросилась к двери.

Глава 16

Мы думали, что по возвращении обнаружим лишь трупы Линди и Шангуань Люй, но все оказалось совсем не так. Жизнь во дворе кипела. Под стеной дома двое молодцев, склонив свежесбранные головы, усердно починяли одежду. Было видно, что мастерства в обращении с иглой и ниткой им не занимать. Двое других рядом, тоже сверкая бритыми затылками, со всем усердием чистили большие черные винтовки. Еще двое расположились под утнутом: один стоял, в руке у него поблескивал штык; другой сидел на табуретке с белой тряпичной на шее, склонив мокрую голову, всю в мыльной пене. Стоявший время от времени приседал, несколько раз вытирал штык о штаны, потом свободной рукой брался за намыленные волосы и словно прицеливался штыком – куда бы его вонзить. Потом, пригнувшись и отставив зад, проводил штыком от макушки к затылку, снимая намыленные волосы, – появлялась сверкающая белизной полоска кожи. Еще один раскорячился перед корнями старого вяза, там, где у нас раньше хранился арахис. За спиной у него высилась целая поленница наколотых дров. Он заносил над головой наточенный топор на длинном топорике, на какой-то миг задерживал это сверкающее орудие в воздухе и, крикнув, с силой опускал, глубоко загоняя лезвие в старые корни. Упершись ногой в основание дерева, он двумя руками раскачивал топор и не без труда вытаскивал его. Потом отступал на пару шагов, принимал прежнюю позу и, поплевав на руки, вновь заносил топор. Корни с треском разлетались; одна щепка, словно осколок снаряда, угодила в грудь Паньди. Пятая сестра пронзительно вскрикнула. Те, кто чинил одежду и чистил оружие, подняли головы. Обернулись и парикмахер с дровосеком. Попытался вскинуть голову и тот, кого брили, но парикмахер попридержал его:

– Сиди спокойно.

– Тут нищие пришли, старина Чжан! – крикнул дровосек. – Еду просить, наверное.

Из нашего дома, наклонившись, быстро вышел человек в белом фартуке и серой шапке с изрезанным морщинами лицом. Рукава высоко закатаны, руки в муке.

– Попросите где-нибудь еще, тетюшка, – дружелюбно начал он. – Мы солдаты, на пайке, и подать вам что-то не получится.

– Это мой дом, – ледяным тоном проговорила матушка.

Все находившиеся во дворе на миг замерли. Сидевший с намыленной головой вскочил и вытер рукавом потеки с лица, обратив к нам громкое мычание. Это был старший немой Сунь. Он подбежал, издавая нечленораздельные звуки и размахивая руками. Видно, много чего хотелось ему сказать, но что именно – понять было невозможно.

Мы растерянно смотрели на его грубое лицо, и в душе у нас зарождались нехорошие предчувствия. Немой вращал желтоватыми белками глаз, толстый подбородок подрагивал. Повернувшись, он бегом направился в восточную пристройку и притащил оттуда щербатую фарфоровую чашу и свиток с птицей. Подошедший бритоголовый со штыком похлопал его по плечу:

– Ты их знаешь, Бессловесный Сунь?

Немой поставил чашу на землю, поднял одну из щепок, присел на корточки и вывел неровными разнокалиберными иероглифами: *Это моя теща.*

– Вот оно что! – оживился бритоголовый. – Значит, хозяйка вернулась. Мы пятое отделение первого взвода отряда подрывников-железнодорожников. Я командир отделения Ван. Мы сюда на отдых прибыли, уж простите, что заняли ваш дом. Ваш зять – наш политкомиссар прозвал его Сунь Буянь, Бессловесный Сунь – боец добрый, храбр и бесстрашен в бою, мы берем с него пример. Сейчас освободим дом, тетюшка. Лао Люй, Сяо Ду, Чжао Даню, Сунь Буянь, Цинь Сяоци! Быстро собрать свои вещи и очистить помещение!

Солдаты оставили дела и зашли в дом. Потом выстроились на дворе в шеренгу: за спиной – сложенные и крепко связанные одеяла, на ногах – обмотки и матерчатые туфли на толстой подошве, в руках – винтовки, на шее – мины.

– Прошу, тетушка, заходите, – пригласил командир. – Все здесь пока подождут, а я к комиссару за указаниями.

Все бойцы, даже старший немой, которого теперь звали Бессловесный Сунь, стояли навывтяжку, как сосенки.

Командир схватил винтовку и убежал, а мы вошли в дом. К котлу, в котором клокотала вода, была пристроена двухъярусная пароварка из камыша и бамбука, из ее щелей вырывался пар; в очаге жарко пылали дрова. В воздухе стоял аромат пампушек. Пожилой повар, с виду очень добродушный, подбросил еще дров, виновато кивнув матушке:

– Вы уж не сердчайте, мы тут без вашего согласия печку переделали. – И указал на глубокий желоб под очагом. – Эта штука получше десятка мехов будет. – Пламя гудело с такой силой, что у нас появились опасения – не расплавится ли у котла днище. На пороге сидела раскрасневшаяся Линди и шурилась на вылетающие из щелей в пароварке струйки пара. Пар поднимался вверх, принимая самые разнообразные формы, и чем дольше за ним наблюдать, тем красивее он кажется.

– Линди! – позвала матушка.

– Сестра! Третья сестра! – подхватили пятая и шестая сестры.

Линди бросила на нас отсутствующий взгляд, будто мы не были знакомы вовсе или же ни на минуту не расставались.

Матушка провела нас по чисто прибранным комнатам, но нам было как-то неловко, мы будто стеснялись, и она решила снова выйти во двор.

Солдаты так и стояли в одну шеренгу. Немой начал строить нам гримасы. Маленький пащенок Сыма бесстрашно подошел к солдатам и стал трогать их крепко затянутые обмотки.

Вернулся их командир, а с ним мужчина средних лет, в очках.

– Это наш комиссар Цзян, тетушка, – представил его командир.

Среднего роста, с белой, чистой кожей, тщательно выбритый, комиссар был перепоясан широким кожаным ремнем, а из нагрудного кармана торчала ручка с золотым пером. Он вежливо кивнул нам и достал из кожаного мешочка на бедре горсть каких-то разноцветных штучков.

– Это вам, дети, леденцы, поешьте сладкого. – Он разделил их поровну, даже закутанной в соболью шубу девчонке досталась парочка, за нее их приняла матушка. Леденцы я пробовал впервые. – Надеюсь, тетушка, вы не будете возражать, если эти солдаты поживут у вас?

Матушка машинально кивнула.

Он поднял рукав, посмотрел на часы и крикнул:

– Пампушки готовы, старина Чжан?

– Вот-вот будут готовы, – доложил выскочивший из дверей повар.

– Детей накорми, пусть поедят первыми, – распорядился комиссар. – Потом дам команду казначею, чтобы пополнил припасы.

Чжан согласно кивал.

А комиссар обратился к матушке:

– Вас, почтенная тетушка, хочет видеть командир отряда, прошу пройти со мной.

Матушка хотела было передать малышку пятой сестре, но комиссар остановил ее:

– Нет, лучше возьмите ее с собой.

И мы пошли за комиссаром. На самом-то деле это матушка следовала за ним, я сидел у нее на спине, а малышка лежала на руках. Двое часовых, стоявших у ворот Фушэнтана навывтяжку с винтовками в левой руке, отдали нам честь, вскинув правую руку через грудь и положив на сверкающий штык. Пройдя через несколько галерей, мы вошли в большой зал, где на

красном столе Восьми Бессмертных⁷¹ стояли два больших дымящихся блюда – одно с фазаном, другое с зайчатиной. Была там и корзинка пампушек, белых аж до синевы. Навстречу вышел человек с бородкой и усами.

– Добро пожаловать, добро пожаловать, – улыбнулся он.

– Это, тетушка, командир нашего отряда Лу, – представил его комиссар.

– Я слышал, вы тоже из рода Лу, почтенная, – заговорил командир. – Лет пятьсот назад мы были одной семьей.

– В чем наша вина, господин начальник?

Лу внимательно глянул на нее, а потом от души расхохотался:

– Вы не так всё поняли, почтенная. За моим приглашением не кроется никаких тайн. Десять лет назад мы с вашим старшим зятем Ша Юэляном были закадычными друзьями, а тут я узнал, что вы вернулись, и приготовил угощение.

– Никакой он мне не зять, – заявила матушка.

– Ну зачем же скрывать, тетушка? – вставил комиссар. – Разве у вас на руках не дочка Ша Юэляна?

– Это моя внучка.

– Давайте сначала поедим, – засуетился Лу. – Вы наверняка ужасно голодны.

– Мы, пожалуй, откланяемся, господин начальник.

– Не спешите уходить, почтенная. Ша Юэлян в письме попросил меня приглядеть за дочерью, он же знает, что жизнь у вас несладкая. Сяо Тан!

В зал стремительно вошла симпатичная девушка в военной форме.

– Прими у почтенной тетушки ребенка, чтобы она могла поесть, – велел Лу.

Та подошла к матушке и с улыбкой протянула руки.

– Никакая она не дочь Ша Юэляна, – твердо повторила матушка. – Она моя внучка.

Снова пройдя галерею за галереей, мы вышли на улицу, прошли по проулку и вернулись домой.

В последующие несколько дней эта симпатичная девушка носила нам еду и одежду. Из еды это были жестяные банки с печеньем в форме собачек, кошечек и тигрят, стеклянные бутылочки с молочной смесью, а также глиняные кувшинчики с прозрачным пчелиным медом. А из одежды – шелковые и бархатные курточки и штанишки с кружевной отделкой и даже шапочка на подкладке с заячьими ушками из меха.

– Это всё подарки ей от командира Лу и комиссара Цзяна, – указала она на малышку. – Маленький братик, конечно, тоже может все есть, – добавила она, указывая на меня.

Матушка бросила полный безразличия взгляд на пышущую энтузиазмом барышню Тан с ее румяными, как яблочки, щеками и глазками цвета зеленого абрикоса:

– Заберите все это назад, барышня. Эти вещи слишком хороши для детей из бедной семьи. – И, выпростав груди, сунула один сосок мне, а другой – девчонке из семьи Ша. Та довольно запыхтела, а я запыхтел злобно. Она задела меня рукой по голове, я в ответ лягнул ее по попе, и она разревелась. А еще до меня доносились беспрестанные, еле слышные и нежные всхлипывания восьмой сестренки, Юйной, – плач, которым заслушались бы и солнце, и лунный свет.

Барышня Тан сообщила, что комиссар Цзян придумал девочке имя.

– Он большой интеллектual, учился в университете Чаоян в Бэйпине, писатель и художник, английский язык знает в совершенстве. Цзаохуа – Цветок Финика – разве не красивое имя? Оставьте ваши подозрения, тетушка, командир Лу сама доброта. Если бы мы хотели забрать ребенка, давно бы уже забрали, это же плевое дело.

⁷¹ Стол Восьми Бессмертных – старинный квадратный стол на восемь персон.

Она достала из-за пазухи молочную бутылочку с соском из желтоватой резины, смешала в чашке мед с белым порошком – я узнал запах, потому что так пахло от иностранки, приезжавшей за наставлениями к Линди, и понял, что это порошок из молока заморской женщины, – залила горячей водой, размешала и залила в бутылочку:

– Вы, тетушка, не позволяйте ей с братиком драться за грудь, так они вас всю высосут. Разрешите, я ее вот этим покормлю. – С этими словами она взяла Ша Цзаохуа на руки. Та вцепилась в матушкин сосок, и он вытянулся, как тетива на рогатке Пичуги Ханя. В конце концов она его отпустила, сосок медленно сжался, как облитая горячей мочой пиявка, но обретал изначальную форму довольно долго. Сердце у меня просто кровью обливало, и ненависти к Ша Цзаохуа я исполнился тоже из-за этого. Но к тому времени маленькая бесовка уже лежала на руках у барышни Тан и, как безумная, сосала фальшивое молоко из фальшивой груди. Сосала с наслаждением, но я ей нисколько не завидовал. Теперь матушкина грудь снова только моя. Давно я не спал так крепко и спокойно, упиваясь во сне молоком до опьянения и блаженства. Весь сон был наполнен его ароматом!

С тех пор я преисполнился благодарности к барышне Тан. Под грубой серой армейской формой у нее выступали крепкие грудки, она казалась красивой и милой. Они, правда, чуть отвисали, но форму имели первоклассную. Закончив кормить Ша Цзаохуа, она отложила бутылочку, развернула шубу, в которую была закутана девочка, и вокруг разнеслась вонь, как от лисы. Я обратил внимание на то, какая кожа у Ша Цзаохуа – молочно-белая. Надо же, лицо черное как уголь, а тело такое белое. Барышня Тан одела ее в шелковый костюмчик, надела шапочку лунного зайца⁷², и получился прелестный ребенок. Откинула шубу в сторону и принялась высоко подбрасывать хохочущую и довольно агукающую Ша Цзаохуа.

Чувствовалось, что матушка напряглась и выжидала момент, чтобы подскочить и забрать ребенка. Но барышня Тан сама подошла и передала ей Ша Цзаохуа со словами:

– Командующий Ша, увидев ее, очень порадует, тетушка.

– Командующий Ша? – удивленно уставилась на нее матушка.

– А вы разве не знали, тетушка? Ваш зять теперь командует Бохайским гарнизоном, у него больше трехсот солдат и личный американский джип.

– Размечтались, Болтун Лу с Четырехглазым Цзяном! – яростно прошипел Ша Юэлян, изорвав письмо на кусочки.

– Мы, командующий Ша, в вашей драгоценной дочке просто души не чаем! – с достоинством проговорил посланец отряда подрывников.

– Ну да, заложника взять большого ума не надо, – сплюнул Ша Юэлян. – Возвращайся и скажи Лу и Цзяну, пусть попробуют захватить Бохай штурмом!

– Не нужно забывать о ваших славных делах в прошлом, командующий Ша!

– Хочу – сопротивляюсь японцам, хочу – сдамся! Кому какое дело? – заявил Ша Юэлян. – И хватит уже этой трепотни, а то я за себя не отвечаю!

Барышня Тан вынула красный пластмассовый гребень и стала причесывать пятую и шестую сестер. Когда она причесывала шестую, пятая завороченно следила за ней. Ее взгляд, словно гребешок, прочесывал барышню Тан с головы до ног и с ног до головы. Когда та стала ей расчесывать волосы, пятая сестра, словно от холода, вся покрылась гусиной кожей. Когда барышня Тан ушла, Паньди заявила матушке:

– Мама, я в армию хочу.

Спустя пару дней она уже щеголяла в серой военной форме. В ее обязанности в основном входило вместе с Тан менять Ша Цзаохуа пеленки и кормить ее молоком из бутылочки.

⁷² Лунный заяц – персонаж китайского фольклора, спутник богини луны Чан Э; готовит в ступке эликсир бессмертия.

В жизни у нас наступила хорошая пора, как в популярной песенке того времени: «Девушка, милая, не грусти пока, не встретила парня – найдешь старика. Коли за товарищами выступишь вослед, ждет тебя капуста с мясом на обед, на пару пампушек белый-белый цвет...»

Капуста с мясом случалась очень редко, да и пампушки тоже, а вот турнепс и вареная соленая рыба частенько бывали у нас на столе, как и кукурузные лепешки.

– Лук в жару не засохнет, солдат с голоду не сдохнет, – вздыхала матушка. – Вот и нам от военных польза выходит. Кабы знать, что так обернется, не было бы нужды и детей продавать. Сянди, Цюди, бедные мои деточки...

Молока у матушки в это время хватало, и качества оно было отменного. Шангуань Цзинь-тун выбрался наконец из своего «кармана», прошел двадцать шагов, пятьдесят, сто и ползать уже не ползал. Мой неповоротливый язык тоже развязался, и ругаться я научился быстро. И когда немой Сунь как-то ущипнул меня за петушок, я сердито выдал: «Мать твою ети!»

Шестая сестра пошла учиться грамоте и выучила такую песенку: «Мне уж восемнадцать, в армию пошла, служба в нашей армии – славные дела, косы ножницами – прочь, эрдамао⁷³ ваша дочь. Часовой стоит на страже, перекрыты все пути, и предателям народа ни проехать, ни пройти».

Занятия проводили в церкви. Оттуда убрали навоз, оставленный отрядом «Черный осел», починили и расставили скамьи. Ангелочки с крыльями куда-то исчезли – улетели, наверное. Жужубового Иисуса тоже было не видать: то ли вознесся на небо, то ли пошел на дрова. На стену повесили доску с большими белыми иероглифами. Ангелоподобная барышня Тан тыкала в эти иероглифы указкой, и доска отвечала глухим звуком.

– Кан – жи, кан – жи⁷⁴.

Женщины кормили грудью детей, сшивали подошвы для обуви. Под поскрипывание суровых ниток губы повторяли вслед за товарищем Сяо Тан:

– Кан – жи, кан – жи.

Еле держась на ногах, я топтался среди этого сборища, задевая груди различных форм и размеров. На возвышение вскочила пятая сестра:

– Народ – это вода, сыновья и братья солдаты – рыба, верно? – обратилась она к сидящим внизу.

– Верно.

– Чего больше всего боится рыба?

– Крючков? Бакланов? Водяных змей? – раздались возгласы.

– Больше всего рыба боится сеток! Да, больше всего рыба боится сетей! – воскликнула пятая сестра. – Что у вас на затылке?

– Узел волос! – прозвучало в ответ.

– А на нем что?

– Сетка!

Тут женщины поняли, в чем дело, и, то бледнея, то краснея, загудели, стали перешептываться.

– Сострижем волосы, освободимся от сеток, защитим командира Лу и комиссара Цзяна, защитим отряд подрывников, что под их началом! Кто первый? – Паньди подняла высоко над головой большие ножницы, они заклацали в ее тонких пальчиках – уже не ножницы, а голодный крокодил.

– Только подумайте, вы, хлебнувшие горя матери и бабушки, тетушки и старшие сестры! – заговорила барышня Тан. – Нас, женщин, угнетали три тысячи лет. Но теперь мы

⁷³ Эрдамао – так называли в Китае женщин с короткой стрижкой.

⁷⁴ Кан жи – бей японцев.

наконец можем встать в полный рост. Ху Циньянь, а ну скажи, этот твой пьяница-муж Не Баньпин⁷⁵ еще осмеливается бить тебя?

Поднялась молодая женщина с посеревшим от страха лицом, с ребенком на руках, быстро глянула на возвышение, на полных воодушевления бойцов Тан и Шангуань и тут же опустила голову:

– Нет, не бьет.

– Женщины, слышали? – захлопала в ладоши Тан. – Даже он не осмеливается бить жену. Наш Комитет спасения женщин – это семья, которая защищает женщин от несправедливости. Женщины, откуда взялась эта жизнь в равенстве и счастье? С неба свалилась? Из-под земли поднялась? Нет, нет и нет. Она пришла к нам с отрядом подрывников. В Далане, в глубинке Гаоми, мы создали несокрушимый опорный пункт в тылу врага. Мы опираемся только на собственные силы, готовы упорно трудиться в тяжелых условиях, налаживать жизнь народа, особенно женщин. Долой феодальные пережитки! Мы должны прорваться через все сети. И не только ради отряда подрывников, а больше для нас самих, женщин, нужно срезать эти волосы с сетками и всем стать эрдамао!

– Мама, давай ты первая! – клацая ножницами, подошла к матушке Паньди.

– Если тетушка Шангуань станет эрдамао, мы тоже подстрижемся, – хором заявили несколько женщин.

– Мама, будешь первой – дочери уважения прибавится, – не унималась Паньди.

Зардевшись, матушка наклонила голову:

– Стриги, Паньди. Коли на благо отряда подрывников, так матери не только волосы обрезать – пару пальцев отсечь не жалко!

Первой захлопала барышня Тан. За ней остальные.

Пятая сестра распустила матушкин узел, и на шею ей веткой глицинии, черным водопадом упала грива волос. На лице у матушки было то же выражение, что и у полунагой Богоматери по имени Мария на стене, – торжественно-печальное, безропотное, жертвенное. В церкви, где меня крестили, все еще воняло ослиным навозом. Большое деревянное корыто напомнило о том, как меня и восьмую сестренку крестил пастор Мюррей.

– Давай, Паньди, стриги, чего ждешь-то? – сказала матушка.

И вот широко раскрытая пасть ножниц впивается в ее волосы. Клац-клац-клац – черная грива падает на пол, матушка поднимает голову – она уже эрдамао. Оставшиеся волосы едва покрывают уши, обнажая тонкую шею. Освобожденная от бремени тяжелой гривы, голова матушки казалась теперь подвижной, даже легковесной. Матушка будто утратила степенность, в ее движениях появилась некая шаловливость, даже лукавство, и в чем-то она стала похожа на Птицу-Оборотня. Барышня Тан вытащила из кармана круглое зеркальце и поднесла к ее заалевшему лицу. Матушка в стеснении отвернулась, но зеркальце последовало за ней. Она стыдливо глянула, какой стала, и, узрев свою голову, которая, казалось, уменьшилась в несколько раз, опустила глаза.

– Как, красиво? – спросила барышня Тан.

– Удавиться, какая уродина... – пробормотала матушка.

– Даже тетушка Шангуань подстриглась, так уж вы-то чего ждете? – громко провозгласила боец Тан.

– А-а-а, валяй, стриги, раз мода такая.

– Как власть меняется, сразу и прически другие.

– Стриги меня, моя очередь.

Заклацали ножницы. Послышались вздохи сожаления и возгласы восторга. Я наклонился и поднял прядь волос. Их стало много на полу – черных, каштановых. Черные более жесткие,

⁷⁵ Баньпин – полбутылки.

каштановые тонкие, помягче и посветлее. Матушкины были лучше всех: сильные, блестящие, они словно сочились на концах.

Радостное и веселое было то время, куда интереснее, чем выставка обломков моста, что устроил Сыма Ку. Талантливых людей в отряде подрывников было не счесть: кто пел, кто плясал, нашлись и такие, кто умел играть на флейте-ди и на флейте-сяо, на цине и чжэне⁷⁶. Все ровные стены в деревне покрылись большими иероглифами – лозунги малевали известью для побелки. Каждый день на рассвете четыре молодых солдата забирались на сторожевую вышку семьи Сыма и в лучах восходящего солнца упражнялись на сигнальных рожках. Поначалу это было нечто вроде коровьего мычания, потом стало похоже на щенячье тявканье. Играли они кто в лес кто по дрова, никакой гармонии, но потом мелодии стали более или менее приятными на слух. Молодые солдаты стояли, браво выпятив грудь, задрав голову и раздувая щеки; их сверкающие рожки с красной бахромой очень впечатляли.

Самым симпатичным из четырех был паренек по имени Ма Тун: маленький рот, ямочки на щеках, большие оттопыренные уши. Отличался он живостью и игривостью, а еще мастер был на сладкие речи. В деревне он развернулся будь здоров: более чем у двадцати «приемных матерей» отметился. У них, как его завидят, титьки ходуном ходили: просто сгорали от желания сосок ему в рот запихнуть. Побывал Ма Тун и в нашем дворе: передавал какой-то приказ командиру отделения. Я в тот день сидел на корточках под гранатовым деревом и наблюдал, как муравьи лезут вверх по стволу. Ему тоже стало интересно, он присел рядом, и мы смотрели вместе. Его это увлекло даже больше, чем меня, а уж давил он их куда как более ловко. Еще он привел меня к муравейнику, и мы вместе помочились на него. Над головой у нас пламенели цветки граната; стоял четвертый месяц, было по-весеннему солнечно, небо голубое с белоснежными облаками, и стайки ласточек сновали под ленивым дуновением южного ветерка.

Матушка сказала, что большинство таких красавчиков и живчиков, как Ма Тун, до старости не доживают. Их и без того слишком многим наделил небесный правитель, все досталось им легко, так что рассчитывать на долгую жизнь в доме, полном детей и внуков, им не приходится. Как она сказала, так и вышло: как-то глубокой ночью, когда все небо было усыпано звездами, на главной улице раздались громкие мольбы Ма Туна:

– Командир Лу, комиссар Цзян, умоляю, пощадите на этот раз... Я единственный мужчина в трех поколениях, единственный сын и внук... Расстреляете – наш род прервется... Матушка Сунь, матушка Ли, матушка Цуй, защитите... Матушка Цуй, ты же с командиром на короткой ноге, спаси... – Под эти жалобные крики его вывели за околицу, прозвучал короткий выстрел, и наступила полная тишина. Похожего на небожителя юного сигнальщика не стало. Не спасли его и многочисленные «приемные матери»: провинился он в том, что воровал и продавал патроны.

На другой день на улице выставили большой темно-красный гроб. Подъехала конная повозка, туда его и погрузили. Гроб был из кипариса, четыре цуня толщиной, покрыт девятью слоями бесцветного лака и обернут в девять слоев ткани. Такой в воде за десять лет не протечет, его даже из винтовки типа 38⁷⁷ не пробьешь, а в земле пролежит тысячу лет и не сгниет. Такой тяжеленный, что грузили его под началом командира взвода больше десятка солдат.

Оставшись без дела, солдаты чувствовали себя неприкаянно. Они слонялись с застывшими лицами, некоторые чуть ли не бегать начали. Через какое-то время подъехал на осле седобородый старец. С причитаниями он стал колотить по гробу. Все лицо в слезах, даже борода намокла. Это был дед Ма Туна, человек весьма образованный, еще в правление дина-

⁷⁶ Цинь, чжэнь – старинные китайские щипковые музыкальные инструменты, различающиеся количеством струн.

⁷⁷ Винтовка типа 38 (также «арисака») – стандартное оружие японской пехоты, названа по году выпуска – 38-й год Мэйдзи.

стии Цин получивший степень цзюйжэнь⁷⁸. За спиной у него неловко топтались командир Лу и комиссар Цзян. Наплакавшись, старик обернулся и уставился на них.

– Уважаемый господин Ма, вы хорошо знакомы с классическими книгами и глубоко постигли принципы справедливости, – начал комиссар. – Как ни прискорбно, нам пришлось наказать Ма Туна.

– Как ни прискорбно, – повторил командир.

В лицо ему полетел плевок.

– Вором считают укравшего рыболовный крючок, а те, кто разворовывает страну, – благородные люди⁷⁹. Только кричите о сопротивлении японцам, а сами погрязли в кутежах и распутстве! – бушевал старик.

– Мы, почтенный, настоящее подразделение Сопротивления, – заметил Цзян, – и у нас с самого начала строгая воинская дисциплина. Да, есть отряды, в которых имеют место кутежи и распутство, но это не про нас!

Старик обошел вокруг комиссара и командира, издевательски расхохотался и, встав перед повозкой, побрел вперед. Осел, понунив голову, последовал за ним. За ослом тихонько тронулась и повозка с гробом. Возница понукал лошадь так тихо, что звуки его голоса напоминали стрекотание цикады.

Случай с Ма Туном нарушил кажущееся благоденствие отряда подрывников, как землетрясение. Ложное ощущение стабильности и счастья развеялось как дым. Выстрел, оборвавший жизнь Ма Туна, напомнил, что в пору военной смуты жизнь человека ценится не дороже жизни сверчка или муравья. Случай с Ма Туном вроде бы являл собой пример неотвратимого наказания за нарушение воинской дисциплины, но на солдат он подействовал деморализующе. За несколько дней были отмечены случаи пьянства, а также драк. В квартировавшем у нас отделении не скрывали недовольства.

– Ма Тун стал козлом отпущения! – заявил во всеуслышание командир отделения Ван. – На кой ляд этому пацану приторговывать патронами? Дед у него человек ученый, цзюйжэнь, у семьи тысячи цинов прекрасной земли, стадо ослов и лошадей – зачем ему размениваться на мелочи? По-моему, этот малец погиб через своих беспутных «приемных матерей». Неудивительно, что старик цзюйжэнь сказал: «Только кричите о сопротивлении японцам, а сами погрязли в кутежах и распутстве». – Эти свои соображения командир отделения высказал утром, а после обеда к нам заявился комиссар Цзян в сопровождении двух солдат.

– Ван Мугэнь, давай со мной в штаб отряда, – мрачно скомандовал он.

Ван Мугэнь аж побелел.

– Кто сдал меня, ослы поганые? – выругался он, обведя взглядом своих бойцов. Те с посережними лицами в смятении поглядывали друг на друга. А Бессловесный Сунь с дурацкой ухмылочкой подошел к комиссару и, отчаянно жестикулируя, стал рассказывать, как Ша Юэлян умыкнул у него жену.

– Будешь замещать командира отделения, – приказал комиссар.

Сунь смотрел на него, склонив голову набок. Комиссар вынул ручку и написал ему на ладони несколько иероглифов. Немой уставился на свою ладонь, потом замахал руками и запрыгал от радости. Желтоватые белки глаз заблестели.

– Коли так и дальше пойдет, немой скоро заговорит, – презрительно усмехнулся Ван Мугэнь.

Комиссар дал знак конвоирам, те проворно подскочили и зажали бывшего командира отделения с обеих сторон.

⁷⁸ Цзюйжэнь – одна из ученых степеней в старом Китае.

⁷⁹ Цитата из трактата древнекитайского философа Чжуан-цзы.

– Вот вы как! Кончили молоть, можно и ослика на убой. Забыли уже, как я бронепоезд под откос пустил! – воскликнул тот.

Не обращая внимания на его слова, комиссар подошел к немому и похлопал его по плечу. Тот, явно польщенный таким вниманием, выпятил грудь и козырнул. А из проулка доносились крики Ван Мугэня:

– Меня сердить все равно что мину в головах кана закладывать!

Произведенный в командиры немой первым делом отправился к матушке с требованием вернуть жену. Матушка в это время молола для подрывников серу большим жерновом, за которым когда-то прятался раненый Сыма Ку. Метрах в ста от этого жернова Паньди показывала нескольким женщинам, как прямить молотком металлолом. А еще дальше инженер отряда с помощниками орудовал большими мехами – с ними лишь вчетвером и можно было управиться, – подавая большие порции воздуха в плавильную печь. Рядом в песке были вкопаны формы для мин.

Матушка, обмотав рот платком, ходила по кругу за крутившим жернов ослим. От едкого запаха серы глаза у нее слезились, а ослик беспрестанно чихал. Мы с сыном Сыма Ку сидели возле колючих кустов под надзором Няньди. Матушка строго-настрого наказала ей зорко приглядывать за нами и к сере не подпускать. С ханьянской винтовкой⁸⁰ через плечо, поигрывая тем самым бирманским мечом, что передавался у них в семье из поколения в поколение, к жернову вразвалочку подошел немой. Мы видели, как он встал на пути ослика, нацелил меч в сторону матушки и стал размахивать им, со свистом рассекая воздух. Матушка, стоявшая за осликом с почти лысой метелкой в руках, не спускала с него глаз. Продемонстрировав написанные на ладони иероглифы, немой расхохотался. Матушка кивнула, как бы поздравляя. Потом выражение лица у него стало меняться, как в калейдоскопе. Матушка без конца качала головой, отвергая все его просьбы. В конце концов немой с размаху опустил свой здоровенный кулак на голову ослика. Ноги у того подкосились, и он рухнул на колени.

– Мерзавец! – крикнула матушка. – Чтоб тебе сдохнуть, как свинье, ублюдок!

Немой скривил в усмешке рот и так же вразвалочку удалился.

Длинным крюком открыли железную дверцу в плавильной печи, и из тигеля, разбрасывая снопы искр, потек раскаленный добела металл. Матушка подняла ослика за уши и подошла к колючим кустам. Там она сорвала уже пожелтевший от серы белый платок, которым прикрывала рот, растегнула кофту и сунула мне в рот пропахший серой сосок. Пока я раздумывал, выплюнуть его – такой вонючий и горький – или нет, матушка вдруг резко отпихнула меня, чуть не лишив меня тем самым молочных зубов. Полагаю, при этом она и себе причинила невероятную боль, но было ясно, что думала она совсем о другом. Она кинулась домой, размахивая платком, зажатым в правой руке. Я явственно видел, как ее пропитанные серой соски трутся о грубую ткань кофты, которая намокает от вытекающего ядовитого молока. Охваченная каким-то странным чувством, матушка вся светилась, словно наэлектризованная. Если это и было ощущение счастья, то наверняка счастья мучительного. И зачем ей понадобилось бежать в дом, да еще во весь дух? Долго ждать ответа не пришлось.

– Линди! Линди, где ты? – звала матушка, кружа по дому и пристройке.

Из передней комнаты выползла Шангуань Люй. Она улеглась на дорожке, подняв голову, как большая лягушка. Западную пристройку, где она раньше обитала, заняли солдаты; сейчас они лежали впятером на жернове голова к голове и изучали какую-то потрепанную книгу, сшитую из листов писчей бумаги. Оторвавшись от нее, они удивленно уставились на матушку. По стенам были развешаны винтовки, на балках висели мины, черные и круглые, как яйца паука размером с верблюда.

⁸⁰ Ханьянская винтовка – оружие производства Ханьянского завода в г. Ухань.

– Где немой? – выдохнула матушка. Солдаты лишь помотали головами. Матушка снова метнулась в восточную пристройку. Картина с птицей была небрежно брошена на столик со сломанными ножками, на ней лежала недоеденная пампушка и большое перо изумрудно-зеленого лука. Там же стояла синяя фарфоровая чаша, полная мелких белых костей – то ли птичьих, то ли какого зверька. На стене висела винтовка немого, на балке – мины.

Мы вышли во двор, продолжая звать Линди, но уже без всякой надежды. Выбежавшие из пристройки солдаты стали наперебой спрашивать, что в конце концов случилось.

Немой вылез из подвала с турнепсом – весь в желтой земле и белой плесени, с усталым, но довольным выражением лица.

– Какая же я дура! – воскликнула матушка и даже ногой топнула от досады.

Он изнасиловал третью сестру в самом конце нашего подземного хода, на куче прошлогодней травы.

Мы вытащили ее оттуда и положили на кан. Обливаясь слезами, матушка намочила свой провонявший серой платок и обтерла Линди с головы до ног. Слезы матушки капали на тело сестры, на ее грудь со следами зубов. На губах сестры, однако, застыла трогательная улыбка, а глаза ее сияли завораживающим неземным светом.

Узнав, что произошло, примчалась Паньди и долго смотрела на третью сестру. Ни слова не говоря, она выскочила во двор, вытащила из-за пояса гранату с деревянной ручкой, выдернула кольцо и бросила в восточную пристройку. Но взрыва не последовало: граната оказалась муляжом.

Расстреливать немого привели на то же место, где казнили Ма Туна: у заросшего посередине камышом и закиданного по краям мусором вонючего болотца на южной окраине деревни. Его приволокли туда со связанными за спиной руками и с петлей на шее. Перед ним выстроился почти целый взвод с винтовками.

После эмоционального выступления комиссара, которое было адресовано собравшимся жителям деревни, солдаты подняли винтовки и передернули затворы. Командовал ими комиссар. В тот самый момент, когда пули уже должны были вылететь из стволов, вперед выпорхнула Линди в белоснежном одеянии. Казалось, она парит над землей, подобно небожительнице.

– Птица-Оборотень! – вырвалось у кого-то.

В памяти присутствующих ожили чудесные деяния и ее овечья легендами история. О немом словно позабыли. Пританцовывающая перед толпой, как журавль на болоте, Птица-Оборотень была прекрасна как никогда. Ее лицо, подобное то красному лотосу, то белому, нежно сияло. Фигура великолепна, полные губы просто обворожительны. Все так же пританцовывая, она приблизилась к немому и остановилась. Склонив голову набок, заглянула ему в лицо, и немой расплылся в дурацкой улыбке. Она протянула руку, погладила по жестким, как войлок, волосам, тронула чесночную головку носа. И вдруг неожиданно сунула руку немому между ног, ухватила за его греховодного дружка, обернулась ко всем, по-прежнему склонив голову набок, и рассмеялась. Женщины поспешно отвернулись, мужчины же с вороватыми ухмылками смотрели во все глаза.

Комиссар кашлянул и скомандовал одеревеневшим голосом:

– Убрать ее, продолжаем казнь!

Немой задрал голову и что-то промышчал, вероятно выражая протест.

Птица-Оборотень руки с его дружка так и не убрала, и ее полные губы плотоядно изогнулись, выражая естественное, здоровое желание. Охотников выполнить приказ комиссара так и не нашлось.

– Барышня, – громко спросил он, – так это изнасилование или все было по доброму согласию?

Птица-Оборотень ничего не ответила.

– Он тебе нравится? – снова обратился к ней комиссар.

Птица-Оборотень молчала.

Комиссар глазами отыскал в толпе матушку и, обращаясь к ней, смущенно сказал:

– Видите, как вышло, тетушка... По мне так вообще лучше позволить им жить как муж и жена... Бессловесный Сунь совершил проступок, но не такой уж, чтоб заплатить за него жизнью...

Ни слова не говоря, матушка развернулась и стала протискиваться сквозь толпу. А потом все видели, как она шла: медленно, еле переставляя ноги, словно тащила на спине тяжеленную каменную плиту. Люди провожали ее взглядами, пока вдруг не услышали, как она взвыла. Все тут же отвели глаза.

– Развяжите его! – вполголоса бросил комиссар, перед тем как повернуться и уйти.

Глава 17

Дело было в седьмой день седьмого месяца, когда на небе тайно встречаются Пастух и Ткачиха⁸¹. В доме царил жара, а комаров было столько, что казалось, они цепляются ногами. Матушка расстелила под гранатовым деревом циновку; мы сначала уселись на нее, а потом улеглись, слушая ее рассказы вполголоса. Вечером прошел небольшой дождь. «Это небесная Ткачиха льет слезы», – сказала матушка. Воздух наполнился влагой, изредка налетал прохладный ветерок. Над нами поблескивали листья. В пристройках солдаты зажгли самодельные свечи. Комары просто одолевали, хоть матушка и пыталась отгонять их веером. В этот день все сороки в мире собирались в небесной синеве и, примкнув друг к другу клювами и хвостами, возводили мост через катящую серебряные валы реку, чтобы на нем могли встретиться Ткачиха и Пастух. Дождь и роса – их слезы. Под тихое бормотание матушки мы с Няньди, а также сынок Сыма всматривались в усыпанное звездами небо, выискивая именно те, о которых она говорила. Даже восьмая сестренка, Юйнюй, задирала голову, и глазки ее сверкали ярче звезд, увидеть которые ей было не дано. В проулке тяжелой поступью прошли сменившиеся часовые. Из полей доносилось кваканье лягушек, а в сплетениях гиацинтовых бобов на заборе застрекотала другая ткачиха⁸², выводя свои трели. Во мраке шарахались большие птицы, мы видели их смутные силуэты и слышали шелест крыльев. Пронзительно верещали летучие мыши. С листьев звонкой каплей скатывалась вода. На руках у матушки посапывала Ша Цзаохуа. В восточной пристройке по-кошачьи взвизгивала третья сестра и в свете свечи покачивалась большая тень немого. Они уже стали мужем и женой. Их брак засвидетельствовал комиссар Цзян, и тихие покои, куда приносили подношения Птице-Оборотню, превратились теперь в покои брачные, где Линди с немой предавались своим страстям. Птица-Оборотень часто выбегала во двор полуголая, и один солдат так засмотрелся на ее прелести, что немой ему чуть голову не открутил.

– Поздно уже, спать пора, – сказала матушка.

– В доме жарко, комары, можно мы здесь поспим? – заныла шестая сестра.

– Нет, – отрезала матушка. – Роса вам не на пользу. К тому же есть тут любители цветочки собирать... Вроде даже слышу их речи: один говорит, давай, мол, сорвем цветочек. А другой отвечает: «Вот вернемся и сорвем». Это духи пауков переговариваются, они тем и занимаются, что юных девственниц совращают.

Мы улеглись на кане, но сон не шел. Лишь восьмая сестренка, как ни странно, сладко уснула и даже пустила слюнку. От комаров жгли полынь, и едкий дым лез в нос. Свет из окон солдат попадал в наше окно, и можно было рассмотреть, что делается во дворе. В туалете гнила, распространяя вокруг жуткую вонь, протухшая морская рыба, которую прислала Лайди. Вообще-то она присылала много чего ценного – отрезки шелка, мебель и антиквариат, – но всё реквизирует отряд подрывников. Еле слышно звякнула задвижка на двери.

– Кто там? – строго окликнула матушка, нащупывая в головах кана тесак для овощей. В ответ тишина. Наверное, послышалось. Матушка положила тесак обратно. На полу перед каном попыхивала красными сполохами плетенка из полыни.

Неожиданно рядом с каном выросла черная тень. Матушка испуганно вскрикнула. Шестая сестра тоже. Фигура метнулась к матушке и зажала ей рот. Та вцепилась в тесак, уже готовая нанести удар, и тут раздался голос:

– Мама, это я, Лайди...

⁸¹ По легенде, Пастуха и Ткачиху разделила небесной рекой (Млечный Путь) богиня Сиванму, и влюбленные могут встречаться лишь раз в год, 7 июля, на мосту, который образуют летающие для этого сороки.

⁸² Ткачиха – народное название длинноусого зеленого кузнечика.

Тесак выпал из руки матушки на соломенную циновку. Старшая дочь вернулась! Сестра стояла на кане на коленях, еле сдерживая рыдания. Изумленные, мы вглядывались в ее слабо-различимые во тьме черты. Местами на ее лице поблескивали какие-то кристаллики.

– Лайди... девочка моя... Это правда ты? Ты не призрак? А даже если и призрак, я не боюсь. Дай мама рассмотрит тебя хорошенько... – Матушка стала шарить в головах кана, ища спички.

Лайди остановила ее.

– Не зажигай огня, мама, – тихо проговорила она.

– Лайди, дрянь бессердечная, где вас с этим Ша носило все эти годы? Сколько страданий ты принесла матери!

– В двух словах не расскажешь, мама. Скажи лучше, где моя дочь?

– Мать называется... – вздохнула матушка, передавая сестре сладко спящую Ша Цзаохуа. – Родить еще не значит поднять, скотина и то... Из-за нее твои сестренки, четвертая и седьмая...

– Придет день, мама, я отплачу вам за все доброе, что вы сделали для меня. И четвертой и седьмой сестренкам тоже.

Тут подала голос Няньди:

– Сестра!

Лайди подняла лицо от Ша Цзаохуа:

– Шестая сестренка. – Она погладила ее по голове. – А где Цзиньтун, Юйнюй? Цзиньтун, Юйнюй, помните хоть свою старшую?

– Если бы не отряд подрывников, – продолжала матушка, – вся семья с голоду бы уже перемерла...

– Мама, эти Цзян и Лу негодяи последние.

– К нам они хорошо относятся, истинная правда.

– Мама, это план у них такой, они Ша Юэляну письмо прислали с требованием сдать, а в случае отказа собираются взять нашу дочку в заложники.

– Да разве такое возможно? – охнула матушка. – Они-то пусть себе бьются, а ребенок при чем?

– Мама, я вот и пришла, чтобы дочку спасти. Со мной десяток людей, и нам нужно уходить, чтобы Лу с Цзяном остались с носом. Как говорится, долгая ночь – множество снов, вашей дочери пора...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.